ДМ. ФУРМАНОВ

V

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
1 9 2 8

ДМ. ФУРМАНОВ

ПУТЬ К БОЛЬШЕВИЗМУ

*

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
1 9 2 8

ДМ. ФУРМАНОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ
ПЯТЫЙ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА 1·9·2·8 ЛЕНИНГРАД

ДМ. ФУРМАНОВ

ПУТЬ К БОЛЬШЕВИЗМУ

(СТРАНИЦЫ ДНЕВНИКА)

ПОД РЕДАКЦИЕЙ
АННЫ ФУРМАНОВОЙ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА 1·9·2·8 ЛЕНИНГРАД



Х, 20. Гиз № 22767.
Ленинградский Областлит № 11997.
17 л. Тираж 10000.

ПРЕДИСЛОВИЕ

В предисловии к первому изданию книги тов. Фурманова «Путь к большевизму» Г. Лелевич писал:

«Прежде всего — это первоклассный исторический источник. Перед читателем развертывается яркая картина 1917 — 1918 гг. в Иваново-Вознесенске. Октябрьские события в этом рабочем центре уже нашли себе освещение в статьях И. Фиргера («Красная летопись», № 6), Ф. Н. Самойлова («Пролетарская Революция», № 10 за 19 24 г.) и, наконец, самого Фурманова («Пролетарская Революция», № 10 за 1922 г.). Но, во-первых, эти статьи охватывают значительно меньший хронологический отрезок. Во-вторых, они крайне невелики по размерам. В-третьих, — и это самое главное, — они в большинстве написаны значительно позднее, на основании сохранившихся в голове воспоминаний. Между тем, настоящая книга Фурманова представляет собой подробные записи, сделанные автором в те самые дни, когда происходили описываемые события.

Это, вообще, если не единственный, то крайне редкий случай. Невозможно представить себе, как умудрялся Фурманов, без отдыха варившийся в революционном котле, систематически фиксировать в те дни и внешние факты, и связанные с ними переживания и размышления. Если есть еще

такие дневники активных деятелей революции 1917 г., то, во всяком случае, их чрезвычайно мало.

Дневник Фурманова отражает все характерные моменты, все этапы и отличительные черты февральско-октябрьской эпохи. Перед нами встает хмельный угар марта 1917 г. с видимостью «обще-национального подъема», с необнажившимися еще классовыми противоречиями, с дружескими совещаниями купцов и рабочих, офицеров и солдат. А в мае уже местные революционные органы оказываются вынужденными, по требованию рабочих, арестовать крупнейших местных капиталистов. Так быстро рассеялся туман «единения классов». Фурманов рисует постепенное пробуждение рабочей массы к активной политической жизни, дает почувствовать нарастание революционного шквала. Мелькает корниловщина. Разражается Октябрьская гроза.

Обстановка и ход Октябрьских событий переданы в дневнике с несравненной красочностью. Чего стоит замечательная картина работы телефонной станции во время саботажнической забастовки почтовиков!

Дневник дает много характерного материала по одному из важнейших вопросов истории — экономической политике советского государства. Как известно, после Октябрьского захвата власти, Ленин и с ним большинство большевистской партии наметили экономическую политику, в основном предвосхищавшую нэп. Бешеное сопротивление капиталистов, саботаж интеллигенции, белогвардейские заговоры, восстания, наступления, наконец, интервенция — принудили отказаться от этой политики и перейти к методам всеобщей национализации, привели к хозяйственной системе, известной под именем «военного коммунизма». Как прекрасно разъяснил Ленин в одной из речей осени 1921 г., русская буржуазия, естественно, не пожелала подчиниться советскому государству или договариваться с ним, прежде чем убе-

дилась, что захват власти пролетариатом — непреодолимый факт. Эта вынужденность перехода к политике решительной и широкой национализации подтверждается множеством фактов, приведенных в дневнике Фурманова. Вообще картина после-октябрьского саботажа предпринимателей и ответной национализации фабрик в Иваново-Вознесенском районе — одна из интереснейших страниц не только в книге Фурманова, но и во всей нашей исторической литературе.

Чрезвычайно характерно описание развертывания работы отдела народного образования в обстановке саботажа учительства и катастрофического недостатка культурных сил. Важны беглые зарисовки деятельности Фрунзе в Иваново-Вознесенске».

Однако, помимо того, что книга тов. Фурманова является первоклассным историческим источником, помимо того, что она имеет большую социально-психологическую ценность (оценка Лелевича, которой я ниже коснусь), помимо этого у нее есть еще одно достоинство, позволяющее перенести ее из разряда источников и документов в разряд высокосознательной умственной деятельности, имеющей совершенно самостоятельное значение.

Я затрудняюсь, по линии какого жанра занести это произведение, — будучи по характеру своему мемуарным, оно идет по средней линии между литературой политической и художественной, но по самому характеру своего воздействия оно осуществляет задания и первого и второго рода.

Ленин, говоря о Толстом, сказал замечательные слова о том, что реализм состоит в срывании всех и всяческих масок. Именно такую функцию выполняет книга тов. Фурманова. Она показывает, как создавались те учреждения и организации, к которым мы привыкли и которые начинаем считать чем-то обыденным, само собою разумеющимся. Она показывает нам, как с боем «на концах штыков» входили

в мир те идеи, которые стали господствующей доктриной в Советском Союзе. Она показывает, как материализовалась идея диктатуры пролетариата, с какими трудностями, исканиями, ошибками складывалась советская система. Всякий, прочитавший эту книгу, — по-новому, свежее будет чувствовать сущность наших учреждений, она дает ощущение необычности советского общественного порядка по отношению ко всей истории человечества.

Значение книги тов. Фурманова в том, что она за обыденными представлениями о революции вскрывает ее глубокую сущность. Но может явиться естественный вопрос: а почему же мешают эти обыденные представления? В том то и дело, что мешать они могут. Шкловский однажды пошутил: «бытие определяет сознание, как говорит современная русская пословица» и этими словами дал прекрасный пример всей вредности обывательских суждений о революции. Сотни таких вот несомненно порожденных революцией и несомненно правильных сентенций распространены в нашем обществе. Для обывателя они из конечных формул, результатов сознательных мыслительных процессов, превратились в современные поговорки, которыми обыватель пытается отделаться от революции. Да только ли обыватель! Партийная оппозиция дала нам немало примеров того, как люди, мыслящие такими вот схематическими, упрощенными, сплошными «марксистскими поговорками», пытаются пришить их к сложному и противоречивому развитию социалистической революции, перестают понимать ее, теряют власть над процессами, происходящими в обществе; из авангардных людей класса, перестраивающего действительность, превращаются в упадочников, плетущихся за историческим развитием, и в конечном итоге — начинают представительствовать враждебные пролетариату слои.

Вот почему перед каждым революционером, перед каждым

рабочим и крестьянином, стремящимся строить социализм и сознательно бороться за него, стоит задача преодоления житейских обывательских представлений о революции. А ведь миновало уже десятилетие революции и вырастают поколения, для которых бытовой предпосылкой является: советская конституция, наше законодательство, определенное соотношение коммунистической партии, профсоюзов и органов соввласти, для которых социализм это «нечто хорошее», капитализм — «нечто плохое».

Говорить не приходится, что все это — производное от успехов революции и предпосылки ее победы. Но переходя из одной стадии в другую, социалистическая революция делается все противоречивее и сложнее. Не замеченное Лелевичем значение книги тов. Фурманова состоит в том, что она помогает нам в срывании всех и всяческих обывательских масок с нашей революционной действительности, в раскрытии ее подлинной глубокой сущности.

И по мере того как революция будет во времени отодвигаться, эта книга будет для новых поколений приобретать все большее и большее значение, даже и после того как ее богатейший историко-фактический материал, будет исчерпан в истории Октября. Любопытно также то содержание, которое вкладывает Лелевич в признание социально-психологической ценности книги:

«Словом, исключительная фактическая ценность дневника не подлежит сомнению. Но еще значительнее его социально-психологическая ценность. С обычными для него искренностью, откровенностью и прямотой, Фурманов обрисовал свою политическую и психологическую эволюцию, завершившуюся его приходом в ряды большевистской партии. Даже индивидуальный путь такого человека, как Дмитрий Фурманов, к большевизму заслуживает внимания. Но ведь путь к большевизму Фурманова — не

только его личный путь, это — также дорога целого поколения, целого социального пласта. Раскрывая одну из важнейших страниц своей биографии, Фурманов раскрывает тем самым страницу биографии ряда своих современников. И если сам он представляет собой резко выдающуюся историческую фигуру, то ведь это означает, что характерные черты родственного ему социального слоя проявились в нем с особой силой».

И как бы уточняя все сказанное, Лелевич кончает книгу следующими словами:

«Одни из этих «переходников» так и остались «лишенными классового костяка» и либо отошли от революции, либо остались более или менее близкими попутчиками ее. Другие крепко спаялись с пролетарскими массами, выварились в большевистском котле, стали трудовыми бойцами «батальонов рабочего класса». Вторая дорога и была дорогой Фурманова.

И те, кто еще не вступил на эту дорогу, пусть извлекут из этой книги ту радостную готовность, то великое умение неустанно учиться у жизни, которые позволили Фурманову пройти через этап метаний, стать ярким образцом большевика и в жизни и в искусстве».

Однако вся социально-психологическая ценность этой книги Фурманова отнюдь не исчерпывается тем, что она должна помочь тем, кто еще не крепко спаялся с батальонами рабочего класса, не выварился в рабочем котле, не стал трудовым бойцом батальонов рабочего класса.

Вступив в партию «крепко спаявшись», интеллигент ни на минуту не должен позволить себе зачваниться, возомнить, что теперь ему сделана прививка против всех интеллигентских пороков. Да и рабочий как в процессе своего пути к большевизму, так и став членом партии — правда в другом толке и по иному, — но тоже должен постоянно проделывать

большую работу над собой, отказываться от целого ряда старых навыков и воспитывать в себе новые. Иногда он это делает стихийно, иногда сознательно, но чем более этот процесс сознателен, тем он проходит успешнее. Величайшая ценность книги Фурманова состоит в том, что она учит тому, в какой степени сознательно всякий профессиональный революционер-большевик должен относиться к своим поступкам и к тем внутренним побуждениям, которые предшествуют поступкам, в какой степени он должен свою внутреннюю жизнь всю подчинять задаче революционной борьбы.

Путь к большевизму! Но кроме пути к большевизму есть еще путь в большевизме. И если для того, чтобы проделать путь к большевизму, нужна искренность, беспощадно-разоблачительное отношение к самому себе, трезвая объективная оценка своих сил и поступков с точки зрения общественной, которую культивировал в себе Фурманов, то еще в большей степени это нужно внутри партии, для пути в большевизме. Нет, не только для тех, «кто еще не вступил на эту дорогу» написана эта книга. Она полезна каждому члену партии и в особенности тем, кто закрывает глаза на сложность и противоречивость социалистической революции, кто подменяет изучение ее ходячими обыденно плоскими марксистскими представлениями, что, проделав эту дорогу до конца и завершив ее вступлением в партию, на этом успокоился, забыл, что слова Маркса о рабочем классе, который перестраивает общество, переделывает сам себя, относятся также и к авангарду рабочего класса.

Больше того — книга Фурманова, являющаяся не только дневником событий, но и дневником переживаний, говорит о том, что осознание своих внутренних психологических процессов, осуждение и отображение своих поступков, мыслей и чувств, с точки зрения интересов пролетарской революции

не только допустимо, но и необходимо, т. к. помогает в выработке тех качеств, которые необходимы революционеру, укрепляет в нем «большевистскую фракцию чувств» (Безыменский). Этими качествами Дмитрий Андреевич Фурманов обладал в очень большой степени. И они не только привели его в партию, но они обусловили его постоянный рост внутри партии.

Этой книге придает интерес также и то, что она вскрывает некоторые особенности творческой работы Фурманова. «Чапаев» и «Мятеж» выросли из дневников. Фурманов обладал редким для художника свойством — фиксировать сознанием свои поступки и действия других людей в момент их совершения. Фурманов художественно обобщает событие в момент его совершения. Но сам он отнюдь не считал эти обобщения достаточными. Он фиксировал день за днем, иногда возвращаясь обратно, пересматривал свои впечатления и дожидался конца той или иной «эпохи» своей жизни. И тогда начинался художественно-обобщающий процесс на новой, еще более повышенной основе. Отбрасывалось случайное, несущественное, выделялось основное. Художественное сырье фактов превращалось в явление искусства, в обобщение на основе определяющей тенденции развития действительности.

«Путь к большевизму» является частью многотомного дневника Фурманова. Несомненно, что на основе этого дневника могло вырасти произведение, подобное «Чапаеву» и «Мятежу». И тот исключительный интерес и то общественное значение, которое эта книга имеет, несмотря на то, что она самим тов. Фурмановым не предназначалась к печати, еще раз подчеркивает всю величину безвременной потери, которую понесла пролетарская литература, потеряв Фурманова.

Ю. Либединский.

ПУТЬ К БОЛЬШЕВИЗМУ

(СТРАНИЦЫ ДНЕВНИКА)

ФЕВРАЛЬСКИЕ ДНИ

2 марта 1917 г.

О, мой друг, не мечта этот светлый приход
Не пустая надежда одна.
Оглянись: зло вокруг чересчур уж гнетет,
Ночь вокруг чересчур уж темна.
Мир устанет от мук,
Захлебнется в крови,
Утомится безумной борьбой
И поднимет к любви, беззаветной любви
Очи полные скорбной мольбой.

(Надсон).

Вот оно — пророчество молодого, чуткого поэта. Мир устал от муки и поднялся могучей волной добывать украденное счастье. То, что еще вчера было «таинственной вестью», претворяется в дело.

Рабочие с утра остановили все фабрики, очистили среднеучебные заведения. Всюду ходят толпами. Есть красные флаги. Поют песни. Бегу на курсы, — там с товарищем Михаилом Черновым вывешиваем объявление:

«По случаю великих событий, происходящих в России, занятия прекращены до воскресенья».

Хотелось бы собрать Педагогический совет. Настроение таково, что дух захватывает. В Петербурге арестовано пра-

вительство. В Москве Начальник военного округа Мрозовский заперся с частью полиции в Кремле, но принужден был сдаться. Отовсюду мчатся беспокойные боевые вести. Люди ходят с восторженными, вдохновленными лицами. Готовятся к великому празднику России. Полицейских нет — все попрятались. Все заволновалось, заходило, словно в морской качке. Рушится старое зло, родится молодая, свободная Россия.

3 марта 1917 г.

Учрежден Революционный комитет общественной безопасности в составе семидесяти двух человек. Сюда вошли пятнадцать представителей от рабочих, семь — от командного состава 199 полка, десять — от рядового состава того же полка, по два представителя от «Единение — сила», «Почин», «Благоустройства ям», «Общества грамотности» и т. д. Этот Революционный комитет берет на себя управление городом, — от распоряжений до наказаний включительно. Стоят еще открытыми вопросы о городской милиции и об аресте должностных лиц. Впрочем, к вечеру уже носились упорные слухи, что ненавистный полковник Смирнов сидит под арестом. В 5 часов было собрание правления Общества грамотности. Были даны директивы членам, выбранным в Революционный комитет. На сегодня назначено новое собрание, где, между прочим, будет обсуждаться вопрос о захвате местной печати.

На собрании учащихся средне-учебных заведений такая неурядица, так мало толку, что дольше получаса немыслимо там оставаться.

Бестолковщина страшная. Неорганизованность полная. Прекрасные, благородные стремленья — у многих, а ясный и бодрый подъем — у всех.

Затем я иду на собрание интеллигенции.

Собрание интеллигенции хотели устроить еще накануне как в виду полной неорганизованности, так и в виду того, что уже раздавались отдельные недовольные голоса, уличавшие ее в полной бездеятельности. На собрании мало что было разрешено окончательно. Выработаны были, между прочим, тексты приветственных телеграмм: Временному Исполнительному комитету Государственной думы, Родзянке и Совету рабочих депутатов.

★

Если вчера можно было беспокоиться за судьбу поднявшегося народа, то сегодня, когда пришли центральные газеты, когда точно узнали, что обе столицы в руках революционеров, что все войско на стороне народа,—тревогу как ветром сдуло. Руки развязаны, сердце еле держится в груди.

Местный полк целиком перешел на сторону народа; офицеры клялись честным словом стоять за народ. Полковник с ними, но ему никто не верит: такой подлец может нарушить даже честное слово. Жандармы и полиция обезоружены. Совершилось небывалое в летописях событие: пятнадцать человек полицейских, во главе с полицеймейстером, осененные пятью красными флагами, подошли к думе с громкой марсельезой. У них на груди красные бантики, на устах слова равенства, братства, свободы. Их щадят: все настроены против эксцессов. Торжественно и величественно проходит этот день революции. На площади все время огромные народные толпы. Уходят одни манифестации, — на их место приходят новые. Льются речи, как голоса пробужденной природы, скованной долгим, мучительным сном. Речи ораторов бестолковы. Много в них чувства и наружу прорвавшейся жажды борьбы, но еще более беспомощности и неуменья поставить все на свое место: и слово и дело. Солдаты, даже раненые солдаты с сестрами идут под сенью крас-

ного флага. Идут и поют. И эти свободные песни бьют по сердцам.

Детишки бегают с красными бантами; девушки одели красные платья, окрутили косы красными лентами...

Всюду небывалое торжество. Поздравляют друг друга с новым годом; верят, что пришло и новое счастье.

Уже ясно, что дело освобождения встало на твердый грунт единения народа и войска. Момент по сочетанию обстоятельств — единственный в своем роде, повторяющийся один раз в тысячи лет.

4 марта 1917 г.

По постановлению Революционного комитета фабрики сегодня стали на работу. Вчерашнее оживление исчезло. Быстро, покорно подчинились рабочие голосу рассудка; отряхнули восторг и ушли в работу. Даже странно как-то. Где это видано, чтобы такая стихийная горячка неорганизованной массы покорилась чему-то иному, кроме своего неудержного чувства. Вспыхнуло, озарило и вдруг стало гореть немигающим, ровным светом. Революции, подобной этой, кажется, не знает история.

По быстроте, по безжертвенности, по благородству и истинности чутья совершенно неорганизованной массы — это что-то беспримерное, невиданное, неожиданное. Выступления были бледны, разжечь они не могли. Но только ли ораторскими выступлениями, убежденностью и значительностью речей держится восторг вдохновленной массы? Нет. Многие совершенно ничего и не слышат, еще больше слушателей ничего не понимают, или, понимая, — не связывают в единое. Но уж такова сила урагана: он увлекает своей стремительностью, заражает, покоряет, укрепляет бессильного, выявляет героя. И вдруг ураган подчинился человеческой мысли, подчинился тому, что ему противопо-

ложно, что всегда он ненавидел, против чего всегда боролся. Сила здравого смысла победила необузданную волю.

5 марта 1917 г.

С трудом пробрался я на заседание Революционного комитета. Обсуждался вопрос о городской милиции. Было много прений — жарких прений по вопросу о допущении учеников в милиционеры. Вопрос разрешился отрицательно по двум соображениям:

1) Работа в милиции может отрицательно повлиять на молодые, несложившиеся души;

2) граждане не будут спокойны, если дело общественного покоя и порядка будет вручено подобным лицам.

Юнкера и воспитанники Учительского института в милиционеры были допущены.

Рабочий день милиционера определили в 6 часов, причем остальное время милиционер числится в запасе и в случае нужды может быть вытребован немедленно. Плата — 2 рубля в сутки. Чем выше чин, тем выше, разумеется, плата.

Город был разделен на шестнадцать участков, плюс семнадцатый станционный. Избрали начальника милиции и его товарища.

Милиционер должен быть грамотен и может попасть в ряды милиции лишь по рекомендации рабочих представителей или общественной организации. Он должен удовлетворять известным физическим и нравственным требованиям. Комиссия по разработке положения о городской милиции была преобразована в Совет. Вопрос о приемке в милиционеры бывших служащих полицейского ведомства был предоставлен всецело на усмотрение самого Совета.

В течение дня арестовали полицеймейстера, его помощника, жандармского полковника, полкового командира и др.

6 марта 1917 г.

Председатель Революционного комитета довел до сведения комитета, что им отдано распоряжение арестовать всех казаков и отнять у них оружие.

Дело в том, что в ночь на сегодняшний день к солдатским патрулям подъезжали казаки — в одиночку и группами — и расспрашивали о силе революционеров, о количестве имеющегося у них оружия, о ближайших планах, о заседаниях и проч. Комитет решил оставить их под арестом впредь до особых распоряжений.

Повидимому, не так-то всюду спокойно и надежно, как кажется на первый взгляд. Идет тайная, подземная работа. В народе уже ходят темные, нелепые слухи о том, что скоро будут уничтожать церкви, скоро прогонят священников и введут какую-то новую, никому неведомую религию; что молодой царевич умер; что евреи заняли все «верхи» и хотят закабалить Россию и проч. и проч.

В виду всего происходящего, Общество грамотности завербовало до десяти лекторов и поручило им провести ряд бесед с населением, разъясняя смысл всего происходящего, очищая, по возможности, правду от явной нелепицы и предумышленной вздорной лжи. У себя на курсах мы уже ведем подобные беседы, пропагандируя, главным образом, необходимость наисознательнейшего отношения к близкому Учредительному собранию, где решится судьба народа.

7 марта 1917 г.

В собрании правления Общества грамотности обсуждался вопрос о необходимости познакомить широкие массы с фактической и смысловой сторонами движения. Многие совершенно не знают тех важных подробностей, которыми отме-

чены первые дни революции; многие питаются только слухами, зачастую передающими события в неточном или даже извращенном виде. Еще не установилась окончательно уверенность в успехе начатого дела. Многие считают всенародное движение случайным, отдельным эпизодом в истории движений; не знают фактов и поэтому не оценивают в должной мере важности соединения народа и армии. Отсюда страх, несмелая работа, уклончивость. Поэтому Общество грамотности решило принять на себя функцию осведомительного бюро, вводящего население в курс современных событий. Для первой лекции решено было использовать кинематографы. Пять кинематографов уже дали свое согласие и в субботу, 11-го марта, в них состоятся лекции на тему:

«Смысл совершающихся событий».

Тема широкая, допускающая любого рода толкования. Освещение и план беседы представляются на усмотрение самого лектора, так что даже самые общие директивы были высказаны только в форме пожелания:

1) Общероссийское положение.
2) Значение единства народа и армии.
3) Задача Учредительного собрания.
4) Уклон в сторону демократической республики.

В дальнейшем подобные беседы быть может удастся устраивать систематически, регулярно.

Вопрос о беседах в ближайшем пригородном округе пока отставлен, в виду недостатка материальных средств и необходимых для этого людей.

8 марта 1917 г.

В 12-м часу ночи на заседание Революционного комитета был вызван редактор местной паршивенькой газеты. Ему было предложено: 1) продать типографию добровольно, согласно данным двух оценочных комиссий, приноровля-

вшихся к ценам военного времени ($10^1/_2$ и 11 тысяч); 2) уступить в арендное пользование; 3) в случае отказа по 1 и 2 пунктам секвестровать редакцию и вместо просимых 25 тысяч выдать сумму, назначенную оценочными комиссиями, повысив ее до 12 тысяч. Редактор опешил, но по второму пункту, однако же, согласился и теперь ему с 25 тысяч идут 18% (8 за редакцию и 10 — за возможную порчу машин).

9 марта 1917 г.

Было собрание социал-демократической партии. Сильно чувствуется недостаток сил. Часть партийных работников рассеялась по тюрьмам, часть рассыпалась по фронту. Выступления были вялы, бледны и совершенно не отвечали той жажде хорошего слова, которая отражалась на лицах слушателей. Произнесено множество речей и ни одной из них нельзя было заслушаться, так заслушаться, как это было двенадцать лет назад. Я тогда еще был совсем мальчиком. Причина отчасти быть может и в этом, но что-то тут есть и другое. Те, что влезают на бочку, еще ни разу не дали толпе ни подъема, ни новых сведений. Подъем толпы держится не огнем речей, а единственно собственным внутренним пылом. Время слов отошло, теперь уж им как-то и верят не так охотно; теперь в самую горячку восторженных слов бросают призывы к объединению в профессиональные союзы, разъясняют значение кооперации в народном движении. Просят дела — живого, неотложного, с видимыми результатами. Поэтому, слушая охотно восторженную, но бестолковую речь неопытного оратора — хлопают и кричат ему отчаянно, а уходя домой, толкуют о другом — о той работе, которая сможет укрепить молодой, чуть оперившийся строй.

Собрание партии не дало каких-либо чувствительных ре-

зультатов в смысле огласки важных фактов, в смысле нужных разъяснений, — нет, ничего подобного не случилось. Но случилось другое, еще более прекрасное, еще более ценное и надежное.

Все демократы почувствовали себя братьями, все почувствовали себя людьми, захотели полной, широкой жизни; давнюю мечту о народном доме, о рабочем дворце решили претворить в жизнь.

Каждому захотелось чем-нибудь да помочь осуществлению этой дорогой мечты и, когда окончился сбор, — оказалось, что эти бедняки (а их было человек 400) собрали до 80 рублей.

10 марта 1917 г.

Сегодня великий день, — день нашей революции. Море флагов, море восторженных, упоенных лиц, неумолчный поток бестолковых, но порою прекрасных речей. Гимны, песни и скорбь о погибших борцах за свободу переплелись с речами, полными твердой веры в зарю новорожденного счастья.

Шлем привет нашим братьям — тем, что томятся в далекой Сибири, в холодных далеких окраинах, в глубоких рудниках, в смрадных тюрьмах — всем, кто еще до сих пор томится в неволе. Мы под сенью скорбного черного флага поем в честь павших героев свои скорбные песни. Но те, что томятся до наших дней — пусть знают, что близок, уже мчится и к ним час освобожденья. Неужели не чует ваше сердце, далекие братья, что свобода несется к вам? Вы скоро вернетесь обратно к работе в поредевшие ряды своих братьев-борцов. Скорее-скорее, дорогие братья: огненный пурпур зари скоро претворится в тепло и вы не увидите, не поживете восторгами первых революционных дней.

11 марта 1917 г.

Сегодня состоялась моя первая лекция.

Я думал, что буду сильно волноваться, что все перепутаю, замнусь и в результате не выскажу и десятой доли тех мыслей, что вихрем крутились в голове. Но вышел спокойно, начал уверенно и твердо... Были отдельные места, когда я чувствовал страшную слабость: в голове начинало туманиться, я терял основную мысль, цеплял слова друг за друга — слова для слов — и все ждал: скоро ли кончится, скоро ли рассеется этот туман?

Но он рассеивался. Мысль прояснялась и я снова мог привести в порядок разбредшиеся формулировки. План у меня был широкий; по некоторым пунктам намечался исторический обзор, но так боялся долгих остановок, что почти совершенно не заглядывал в свои наброски и говорил лишь по вдохновенью. А ведь еще два часа впереди! Чем я заполню эти часы? Хватит ли материала? Сумею ли я связать его в одно целое? Иногда проносилась стремительная мысль: вот-вот все оборвется, я притихну, оскандалюсь и попаду в неудобнейшее положение. Мысль шальная, но одно мгновенье она занимала меня среди хаоса иных мыслей. Я чувствовал и видел лучше, чем кто-либо свои недостатки; поражался иногда своим беззаконным скачкам, — стремительным забеганьям вперед, неуклюжим возвращеньям вспять, — к тому, о чем говорилось. Но в то же время я чувствовал и другое: в этих скачках проявлялась бессознательно какая-то особенная хитрость, какая-то ловкость, которая даже передо мною самим затушевывала беззаконности скачков. Находились слова, которые связывали предыдущее с последующим и при тождестве мыслей как будто говорили о новом.

Большую роль сыграл здесь звучный, громкий голос. Он

увлекал иногда и меня самого. Я не хвалу себе пою, нет: я только передаю то ощущение, которое родилось во мне под влиянием собственных слов. Опасенья мои, что материала не хватит и на сорок минут, не оправдывались: на деле получилось, что проговорил я два с половиной часа. Отмечаю с особенной гордостью, что за эти два с половиной часа видел много серьезных вытянутых лиц, направленных к столику. Всего собралось до двухсот тридцати человек. Больше кинематограф вместить не мог. Многие стояли в дверях. Беседу провел без остановки. Голос порою сдавал от усталости, но вдруг оживлялся, крепнул и к концу так свежо звучал, что, кажется, продержался бы еще новых два с половиной часа.

Скачки были страшные. Из одной отрасли перебрасывался в другую — на собственный взгляд непоследовательно; затронул много вопросов, с которыми сам знаком лишь поверхностно, и с такой уверенностью их трактовал, что можно было подумать, будто их разбирает осведомленный, компетентный человек. Иногда, моментами, в голове была совершенная пустота, и я не знал о чем говорить. Но здесь спасала начитанность. Находились красивые слова; они сами собою срывались с языка, и мне сдается даже, что эти именно места и оставляли наибольшее впечатление, как наименее трудные, как наиболее лирические. Часто я мыслью плелся за потоком случайно срывавшихся слов. Сами собой зарождались из этих случайных слов вопросы, разбирать которые не имел в виду — таков, напр., вопрос о роли духовенства. Вообще это состояние, — ну будь, что будет! — это состояние охватывало и увлекало несколько раз. Не надеялся я на аудиторию, — думал, что утомятся после первого получаса и будут мешать своим хождением, покашливаньем, разговором... Ничего подобного не случилось. Все время взрослая публика держалась спокойно и внимательно слу-

шала. Только однажды слушатель не мог сдержаться и среди глубокого молчания вдруг захлопал, закричал неуместное «браво». Это было один раз. Затем, два-три раза переходили дети с места на место — и только. Потом, по окончании речи, подошли ко мне две барышни и просили списать заключительные слова лирического тона.

Эти два с половиной часа прошли незаметно, а сколько осталось совершенно незатронутых вопросов! Обнаружилось это — увы! — лишь после лекции, когда я взглянул в предполагавшийся план. Ясно одно: мы, интеллигенция, оказались совершенно неготовыми. В социальных вопросах приходится разбирать все с азбуки. Берешь не знанием, а смелостью, так что в серьезном споре со знающим человеком пожалуй что на каждом шагу пришлось бы выбираться из грязного положения. Несколько примиряет с этим незнанием искренность порыва и его полное бескорыстие.

12 марта 1917 г.

Эсеры устроили две беседы на тему: «Смысл совершающихся событий». Одна — Архангельского М. И., другая Салова И. А.

Бледно, скучно затронуты были ими события; у Архангельского не нашлось собеседников. А у Салова получилась непроизводительная пустая болтовня. Защищали и опровергали программу эсдеков, ловили друг друга на терминах, на случайных оговорках. Притянули френологию, антропологию, биографию Маркса, врожденность и наследственность. . . Много было пустейшей болтовни праздных людей, а вопросы текущего момента остались в стороне.

«Нет, вы что же! — говорил один из них: — зачем же перетасовывать мои слова?! Вы лучше почитайте в свободную минуту Шопенгауэра, или возьмите Ницше».

«Что Ницше, — отвечал ему оппонент, — вы Ницше не поняли... Есть два рода воздействия на публику: говорить горячо и говорить разумно... Маркс, Энгельс, Каутский... и т. д. и т. д...» Словом, — фразы, фразы и фразы...

А у Салова даже хватает нескромности заявлять во всеуслышание:

«Вот уж вторую неделю я горю в котле огромной работы... Голова трещит... А сегодня еще предстоит два публичных выступления».

Это было сказано во всеуслышание, перед лицом собрания — народа и интеллигенции...

Как только хватает смелости у человека!

Аналогичное заявление было сделано им с подобающими движениями и гримасами в заседании Революционного комитета несколько дней тому назад. «Мы рабочие, мы»... — это его любимая фраза. Просто физически краснеешь за него. Непростительно! Об остальных позерах и говорить не приходится — сыплют незнакомыми словами, именами, никому неизвестными фактами. Ни на чем не останавливаются, ничего не объясняют; а что нашему мужичку или рабочему скажут эти красивые слова: «Лозунги классовой борьбы, девиз свободы, коллектив пропагандистов, Маркс, Энгельс, Каутский, кооперативное движение» и проч. и проч.? Видно было, что люди болтали только для красного словца, ничего, в сущности, не понимая, ничего не защищая, ни в чем понастоящему не убежденные.

Подобных людей занимает почетная роль главаря, председателя, организатора — и только. От этих болтунов, кроме вреда, ничего получиться не может. В большинстве они тупые, неразвитые люди, а часто и совершенно бесчестные. Честные больше молчат. Поэтому-то среди подобных говорунов впоследствии оказывается так много провокаторов. Редко-редко услышишь разумное, честное слово настоящего

работника. Все болтовня, все заполнение пустопорожнего времени, все утоление своей политической, фальшивой жажды.

13 марта 1917 г.

Чувствуется острая нужда в злободневной литературе. Ее совершенно нет. Помню, в прошлую революцию брошюры наводнили, переполнили рынок. Набежала масса лишнего, совершенно ненужного, сбивавшего с толку доверчивую публику. Теперь картина совершенно обратная, но еще более печальная. Нет ни единой брошюры, которая обсуждала бы события и вопросы текущего момента. Общественные выступления, чтения лекций, ведение бесед — все это носит пока чисто случайный характер.

Единственная надежда — сплотить работников вокруг Общества грамотности. У нас уже имеется ядро человек пять-шесть. Оно на ближайших днях и поведет работу. Надо соединить разрозненные элементы интеллигенции. Организовавшееся с первых дней революции общество интеллигенции практически пока сделало мало.

Общество это какое-то странное, безличное, без определенной платформы, без определенного плана работы. Тут, кажется, толку ждать не приходится. Совет рабочих и солдатских депутатов в ближайшем будущем также не намечает никакой работы в массах. Некому за нее взяться: лучшие работники Совета попали в Революционный комитет и, таким образом, выполняют лишь функции связующего звена.

Совет занят большой, внутренней работой по организации. Сам он сбился с пути, не имеет хороших руководителей и пока является корпорацией также довольно бесплодной. Зачем-то допущены представители средне-учебных заведений. Совет теряет физиономию ярко выраженной классовой организации и сбивается на винегрет.

Революционный комитет пока совершенно не имеет времени заниматься какой бы то ни было пропагандистской работой: он завален повседневной работой по городскому самоуправлению, продовольственному вопросу, милицией и проч. и проч.

Таким образом, совершенно некому взяться за дело оповещения и ознакомления широких масс рабочего и крестьянского люда со смыслом происходящего.

14 марта 1917 г.

Сегодня отдан в редакцию местных «Известий Революционного комитета» призыв к гражданам о пожертвовании книг в нарождающийся рабочий клуб. На собрании Комиссии по устройству рабочего клуба, состоявшемся 12-го марта, был выработан устав и назначен день Учредительного собрания.

Подыскано уже и здание, так что в случае успеха призыва в ближайшие дни клуб сможет расправить свои багряные крылья. Мысль о создании клуба родилась как-то случайно; потом слово за слово, один другому — и на собрании слушателей наших курсов 10-го марта вопрос о клубе был поставлен на повестку дня. Теперь уже никто не сомневается, что скоро у нас будет «Рабочий» — так назвали это новое дитя революции. Все ждут его с нетерпением, с открытой радостью: — кто не понимает, тот чувствует, что там готовится для него что-то простое, необходимое и потому — решительно прекрасное.

15 марта 1917 г.

Создается Техническое общество.

В состав членов правления вошли химики, механики, местные фабриканты... Думают открыть в ближайшем будущем не то курсы, не то школу. На ряду со специально-техниче-

ским образованием будут проходиться и общеобразовательные предметы. За советом и справками обращаются на наши курсы. Первоначально они даже думали взять наши курсы в свое ведение, расширить их, платить нам, преподавателям, из своих средств, а слушателей освободить совершенно от платы.

Но им было заявлено, что московские студенты курсы не отдадут, от материальной же поддержки не откажутся. И решено было дать материальную поддержку — 500 р. ежемесячно (это было решено на следующий день, во втором заседании).

При обществе устраиваются свои классы, а преподавателей пригласят путем публикации, объявив о вознаграждении (3 р. за час занятий по предметам общеобразовательным).

Остается фикция платы для слушателей (2 р. за полгода), чтобы дать возможность чувствовать себя «хозяевами», «учиться за свои» и просто прекратить возможность попасть туда лицам случайным.

16 марта 1917 г.

Приходится все начинать с азбуки. В водовороте новых слов тонут понятия, благие начинания, искреннее устремление немногих работников начать настоящее, упорное, но малоприметное созидание. На беседах задаются вопросы вроде того, что: кто такой президент, что такое буржуазия. В ходу выражения «капиталистический, буржуазный строй», «член пропагандистского коллектива», «утопические социальные теории».

Сидит мужичок, слушает и думает про себя: «Ну, дурак же я дурак, ничего-то я не понимаю. . .» А разъяренный оратор хлещет его Энгельсом, Марксом, Лассалем, Каутским, Бебелем и проч. и проч.

Кончится речь. Мужичок обтирает холодный пот и расте-

рянно смотрит по сторонам, ища объяснения, помощи, прибежища. Но видит со всех сторон такие же растерянные, скорбные взоры, — видит и скорбит еще больше. Зато уж крепко он отомстит, когда начнут кричать: «долой самодержавие», «да здравствует свобода», и проч. Тут ему все понятно, — конечно, по-своему. Тут лафа, одно удовольствие.

17 марта 1917 г.

Есть слух, что в 30 верстах в Шуе вырезана целая семья. Идут толки. Выражается недовольство милиционерами.

Впрочем, кажется, к преступлению причастны бывшие полицейские, и потому страшный факт признают своеобразной провокацией.

У местных полицейских, говорят, была сходка где-то в лесу. Что обсуждали, на чем порешили и действительно ли сходка была — никто не знает. Слухи о еврейском засильи и о необходимости погрома исчезли. Одно время стращали предстоящим всебанковским крахом; потом — низвержением христианского вероучения, на место которого восставшие, якобы, хотят поставить «каждый своего бога»; были толки о близком голоде, о крупных военных неудачах. А на фронте появились германские воззвания, где советуют образумиться русскому человеку, потому что вся, дескать, эта революция — дело жадных англичан, что они хотят оттянуть у нас земли, потому и свергли Николая, якобы прозревавшего их лживую политику.

И много, много пасынков родила благородная революция — пасынков и глупых, и смешных, и возмутительных.

18 марта 1917 г.

В музее Д. Г. Бурылина состоялась лекция А. С. Д. об Учредительном собрании. Не буду говорить о впечатлении, о

достоинствах и недостатках самой техники. Лектор — здесь нечто второстепенное, но сознаться нужно, — выражение мыслей, изложение пунктов и разбор их, комбинирование и подытоживание — все это было сравнительно хорошо.

Были отдельные слова — непонятные, новые, — которые лектор проходил мимо, — в этом его упущение. Впечатление ослабевало и от той монотонности и словораздельности речи, которые так часто встречаются у начинающих популяризаторов.

Говорить понятно — это ведь совсем не значит говорить отдельно каждое слово и делать после него паузу.

Здесь даже обрывается мысль слушателя самой этой тягучестью; он не может представить общего, потому что помнит только пару-другую смежных слов. Об эстетических последствиях такого способа и говорить уж нечего: зевота, переглядывание, покашливание, кивание головами, а иногда и легкая прогулка.

Все поглощены лекциями и собеседованиями. Приходилось наблюдать такие картины: кончается лекция, рабочие выходят и толпятся у выхода: «Куда бы еще? Нигде не читают?» «Нет». Притихают на минуту. Но расходиться и не думают: на улице завязывается горячий спор, идет спешное, увлекательное обсуждение злободневных, мировых вопросов. Замечается огромная жажда к знанию и вместе с тем очень малая осведомленность, незначительная компетентность. В ближайшем будущем организуется кружок пропагандистов вокруг уже имеющегося ядра лекторов. До сих пор удалось устроить девять лекций: из них семь на тему «Смысл совершающихся событий» и две — «Учредительное собрание и подготовка к нему». Первые лекции прошли при смешанном составе публики, потому что были широко афишированы. Теперь поступаем иначе: билеты распространяем только среди рабочих, на фабриках, через своих слушателей. С этой ауди-

торией беседовать куда интереснее — вопросы задаются по существу и не получается болтовни о френологии, антропологии, Шопенгауэре, Ницше и проч., на что так падка интеллигентская публика.

19 марта 1917 г.

Сегодня я вел беседу о текущих событиях в кругу рабочих Воробьева и Глинищева. Правда, собралось немного — большинство «набивало погреба», но впечатление осталось хорошее, — у меня от их внимательности, а у них — от животрепещущих вопросов, которые излагались возможно просто и толково.

Очень и очень просили повторить на ближайших днях...

Вечером собрались у товарища — слушателя курсов. Всего было пятнадцать человек.

Разбирали программы партий эсдеков и эсеров. Разбирали подробно, одну в связи с другою. Прения были весьма оживленны. В обсуждении, впрочем, принимали участие пять — шесть человек, остальные задавали только отдельные вопросы. Я формально не причисляю себя ни к одной партии, но перевес симпатий, кажется, на стороне эсдеков. Смущает только их основное положение о сосредоточении крупной промышленности в руках отдельных, крупнейших единиц. Здесь что-то слишком теоретическое, мертвое и гадательное. Всех деталей программы партии я еще, правда, не уяснил и потому нигде себя не фиксирую.

Вполне осведомленным по данному вопросу и убежденным эсдеком из нас был один лишь В. Я.

20 марта 1917 г.

Вчера, 19-го, было учредительное собрание клуба «Рабочий». Оглашен был устав, произведены выборы членов правления, ревизионной комиссии, кандидатов... Неоднократно

обращались с призывом жертвовать книги. К сегодняшнему утру уже было получено четыре письма с приглашением притти за книгами. В ближайшие дни будет обставлено здание и, надо надеяться, — через неделю-другую клуб откроется. В первый день записалось не более ста членов, многие пришли без копейки и обещали записаться при первой же возможности. На собрании присутствовало более шестисот человек — исключительно рабочих. Факт отрадный и знаменательный. Вот где раскрывается воочию, что тьма наша и невежество были созданы силою, а не естественно вытекали из косной природы русского человека. Отношение сердечное, внимательное. Настроение торжественное, почти благоговейное.

Радость большая, светлая, всеобщая.

21 марта 1917 г.

Все окончательно выбиты из колеи. Работать систематически, спокойно решительно нет возможности. Всюду собрания, советы, организация разрозненных сил. Все спешно сплачивается: одни сознательно, видя в этом единственную опору еще неотвердевшему новому строю; другие инстинктивно увлеченные самим процессом организации, находя радость в самой близости, разрешая и утоляя ненасытную, никогда не умирающую жажду соединения. Объединяются рабочие, объединяются крестьяне, ученики, педагоги, интеллигенция, фабриканты, служащие, торговцы... Всех увлекла мечта о нравственности или широкой выгоде организованности. У каждого проявилась какая-то заботливость, каждый куда-нибудь торопится, что-нибудь замышляет, советует, опровергает. Жизнь забила ключом. Только старушки окончательно перетрусили и все спрашивают, — вернется ли батюшка-царь. В отдельных местах фабрикуется погромная литература, держатся еще приспешники разбитого режима,

пытаются что-то сделать. Но все напрасно. Вспоминается Некрасов, говоривший о русском народе, что он:

«вынесет все и свободную, ясную
грудью дорогу проложит себе»...

Вот и проложил... Только жаль, что ты, заступник народный, не увидел, не дожил до этой прекрасной поры...

22 марта 1917 г.

Открыла работу Культурно-просветительная комиссия при Революционном комитете.

В состав комиссии вошли представители всех культпросветов местных обществ. С вечерних курсов был делегирован я. Задачей комиссии являлось: 1) устройство бесед и лекций с рабочими и крестьянами; 2) реорганизация местных библиотек; 3) устройство книжного склада, вечерних классов для взрослых и народного университета.

Поступило предложение использовать казацких лошадей для поездок по волостям. Распутица, конечно, сильно вредит, но возможно сообщение верховое.

В виду поступающих отовсюду просьб о высылке лекторов, комиссия сорганизовала кружок пропагандистов и лекторов.

Средства были даны Революционным комитетом.

Через два дня, 25-го, устраиваем пять бесед на тему: «Учредительное собрание и подготовка к нему». На страстной и пасхальной неделе для этой же цели будут использованы учебные заведения. Объединившиеся ученики средних школ предлагают свою работу в качестве пропагандистов. Если будет ощущаться недостаток в лекторах — возможно, что они будут использованы.

23 марта 1917 г.

Состоялось собрание правления клуба «Рабочий». В первую очередь были назначены выборы членов президиума. Затем обсуждались вопросы: о здании, об изыскании средств, о ближайших практических шагах, о библиотеке и проч.

Присутствовали, конечно, не только члены правления. Подавляющее большинство собравшихся — рабочие. Страсть к организации охватила всех и вся. Получается даже некоторая неорганизованность от самой этой страсти к организации. Например, комиссия по внешкольному образованию, объединив под своим флагом представителей всех местных культурно-просветительных обществ — решила в ближайший день собрать общее собрание пропагандистов, не имея совершенно понятия о том, что в городе существует «Комиссия военно-технической помощи увечным воинам». Об этой комиссии никто до сих пор ничего не слыхал, и вдруг появляется в местной газете приглашение всех пропагандистов на общее собрание от имени этой комиссии. Цель, конечно, прекрасная, но создается какое-то распыление, разнобой в одном и том же деле. В результате рабочие и крестьяне совершенно недоумевают — куда им обратиться за лектором, кого попросить. Нет координирования. Все стараются устроить что-нибудь «свое», и потому организация превращается в дезорганизацию.

24 марта 1917 г.

Меня изумляет и раздражает масса ненужных слов, которые извергают подчас очень умные и заслуженные работники. У революции есть одно больное место: она страшно приучает болтать; родит, как кролик, всевозможных пропагандистов, защитников, толкователей. С кафедры эти ора-

торы умудряются иногда толковать по часу и по два без перерыва. Говорят без умолку, никем не останавливаемые, никого не опровергающие, никому не отвечающие. С первого раза вам может показаться, что это все люди широко-осведомленные, «з н а ю щ и е», убежденные. Но попробуйте вы с ними потолковать в частной беседе, когда вы имеете возможность обрывать на половине их пышную речь и потребовать разъяснений и доказательств, попробуйте отобрать у них «точные сведения», попробуйте проникнуться духом убежденности и веры в дело, попросите фактов, — и вы поразитесь их скудостью, возмутитесь их доверчивостью, оскорбитесь их снисходительностью и спросите себя:

«И как только хватает у человека смелости учить других, — учить, когда сам ровнехонько ничего не знает, многого не понимает, а главное, — ничто и никого искренно не любит и не уважает?»

25 марта 1917 г.

Сегодня в разных местах состоялись беседы на тему: «Учредительное собрание и подготовка к нему».

Одну из бесед вел я. Надо сознаться, что предприятие было слишком смелое и рискованное. Проговорить почти два часа на совершенно новую, мало продуманную и мало знакомую тему — это такого сорта явление, которое может быть вызвано только крайнею нуждой. Оно так и получается. Знакомить население со смыслом совершающихся событий — дело необходимое. Но крупных сил, осведомленных, подготовленных лекторов н е т, а потому приходится выступать нам, — неопытной молодежи. В сущности дело ужасно рискованное. Ведь каждую минуту можно ждать какого-либо ошеломляющего вопроса, могут попросить объяснения фактов. . . А кому же хочется всенародно оскандалиться! Но надо сознаться, что робости нет и следа. В общих чертах все, ко-

нечно, знакомо, а выпутаться от частного к общему — дело нетрудное, особенно если иметь известного рода храбрость, апломб и настойчивость. Потому я и берусь за любой вопрос. Получается иногда так, что перед самой лекцией только-только успеешь прочитать какую-нибудь брошюрку и трактуешь ее как свое давнее убеждение. Что ему книжка последняя скажет, то ему на сердце сверху и ляжет.

Вспоминаются эти позорящие слова, за которые, бывало, презирал героя, к которому они относились. А теперь видишь, что в конечную минуту приходится и на брошюрке строить свою веру. А иногда и брошюрки-то порядочной не найдешь (новых здесь еще до сих пор не получили. Нужда страшная. Отовсюду вопль: дайте книгу. А книги нет). Довольствуешься зачастую какой-нибудь случайной заметкой и дальнейшее изложение идет уж как бог на душу положит. Самому мне казалось, что лекция проходит непоследовательно, неинтересно, но после лекции меня окружили и просили устроить поскорее еще, «а то ведь мы ничего не знаем». Это последнее только и успокаивает. В самом деле, — ведь мы-то хоть что-нибудь да знаем, а широкие рабочие массы, — они решительно ничего не знают. Им азбуку политическую приходится объяснять. Вот почему мы смелы и решительны, а притом и правы.

26 марта 1917 г.

Почетное звание «общественного работника» удесетеряет силы, безмерно увеличивает жажду настоящей, положительной работы, обязывает быть в высшей степени осторожным, рассудительным и строгим, приучает к сознательности, личному самосуду и личной самооценке. До сих пор я как-то не верил в свои силы, не представлял себя на общественном поприще, сомневался, колебался, не допускал возможности выработать в себе что-либо путное и твердое. Волна револю-

ции выбросила меня из болота, заставила призадуматься, а после раздумья, после кратких — последних уже — колебаний и сомнений расправились крылья, бог знает откуда появились свежие силы. И вдруг пришло то самое, чего напрасно ждал так долго: пришла бодрость и неугомонная жажда работы. В революционной борьбе вырабатываются принципы, закаляется воля, создается система действий.

Теперь мне приходится работать во многих организациях, по многим вопросам, до которых прежде страшно и жутко было касаться: тут и библиотечное дело, и курсы, и просветительная комиссия, и общество грамотности, и рабочий клуб, и кружок пропагандистов. Особенно по сердцу именно эта последняя работа — работа пропагандистская. Я впервые увидел, что могу стройно, уверенно, а порою и жарко, передавать свои мысли, верования и надежды. Я видел многих на этом поприще неуверенными, неподготовленными, слабыми. А их авторитет непоколебим... И разом явилось сознание, что в новой области каждому необходимо начинать с азов, что стыдиться тут нечего, что больше надо верить, чем сомневаться и проч. и проч. Эти простые мысли как-то прежде не приходили на ум. А теперь они меня подняли, утвердили, дали жизнь...

Теперь и то бесконечно дорогое, то единое и светлое в жизни, — литературное творчество, — теперь и оно как-то стало ближе, стало понятнее, осуществимее, достижимее... Я, наконец, поверил в себя... Эта великая революция создала во мне психологический перелом. Она зажгла передо мною новое солнце, она дала мне свободные, могучие крылья... Многого еще я не знаю, ко многому только стремлюсь, но это уж не убивает меня, не заставляет опускать беспомощно руки. Я вижу, что и многие другие так же беспомощны, как я, что они так же горят одним лишь желанием, при скудости содержания... горят — и что-то совер-

шают... Я с ними... Я тоже что-то делаю, я тоже кому-то помогаю, облегчаю движение чему-то огромному, светлому. Радость такого сознания безмерна и неповторяема.

27 марта 1917 г.

Организация бесед с рабочими как-то сама собою сконцентрировалась в моих руках. Завтра устраиваем новые пять бесед, это уж будет в итоге двадцать бесед... Правда, особенного труда здесь нет. Организационная работа легка и плохо только одно: никто не берется активно работать по технике организации: приискание помещений, распространение билетов, огласка, осведомление лекторов и проч. С этим заботы много. При кружке пропагандистов необходимо будет создать для подобной работы особую комиссию. Особенно необходимо это будет тогда, когда организуются беседы по волостям. Распутица и недостаток средств передвижения пока не позволяют нам наладить это дело. Но уже на Пасхе, вероятно, будет устроен целый ряд подобных собеседований в ближайшем крестьянском округе.

Правда, беседы похожи больше на лекции; вопросы редки и случайны, но польза от этих бесед несомненная, хотя бы по одному тому, что после собеседований разгораются между слушателями жестокие споры. Многие молчат, боясь показаться смешными, не рискуют перед собранием выразить свои сомнения и просить объяснения непонятных мест. Зато потом между собою перетолковывают все слышанное вкось и вкривь. Явление, конечно, печальное, но так уж мы воспитаны, так подготовлены. Есть и храбрецы — они взбираются на трибуну и говорят, но это большей частью говоруны и только. Их занимает лишь самый процесс говорения, самый факт выступления и любования собой. У них обычно нет вопросов: они все знают, все понимают, спешат сообщить свое. А это свое поражает ненужностью, убожеством и фальшью.

В этой смелости сквозит страшная беспомощность, огромное желание знать и в то же время полное, абсолютнейшее незнание и непонимание самых простых вещей. Это не только у рабочих, но и у большинства выступающей интеллигенции.

30 марта 1917 г.

В местном Совете рабочих депутатов один за другим раскрываются провокаторы. Большей частью это лица, пользовавшиеся известной популярностью среди рабочих, хорошие работники.

Что их толкнуло на такое гнусное дело?

Неужели эта мизерная десятирублевая подачка? Едва ли она одна смогла бы завербовать в свои ряды таких людей. Тут кроется что-то другое. В большинстве это люди, так или иначе пострадавшие за старые политические грехи. Вполне допустимо, что страх дальнейшей волокиты, всевозможных надзоров, ссылок, заключений и прочей радости — все это заставило их круто повернуть свою жизнь в другую сторону. Конечно, служили они с отвращением, с мукой, со страхом и самобичеванием. Такое дело совершить нелегко. Потом втягивались, черствели, выполняли механически свое страшное дело предательства. Немного среди них найдется идейных работников, убежденных провокаторов. Большинство — трагические жертвы старого строя. А некоторые ведь служили отчаянно — за месяц предавали по восемь — десять человек. И что они получали за это? 15 рублей, собачью кличку и характеристику приблизительно в таком виде: «Лямка: 15 р., глуп, исправен, жаден, просит прибавки». Вот и все.

Теперь разъединяют ближайших друзей, — отцу родному перестанешь верить. Вчера сидели вместе, обсуждали, горячились, а сегодня, — сегодня его уж отправляют, куда следует. Есть у меня два типа на подозрении, правда, един-

ственно на основании психологических наблюдений. Интересно, оправдаются ли эти мои предположения.

31 марта 1917 г.

По осмотре библиотек оказалось, что никто о них не заботился, что перестраивать надо все со дна до крышки. Решено у города просить 10 тысяч на реорганизацию. В ближайшую очередь разрешается вопрос о детской библиотеке, о летнем детском отдыхе, о книжном складе...

Комиссия по внешкольному образованию повела дело довольно широко и быстро. В составе нашлось пять — шесть активных работников и этого оказалось достаточно, чтобы разрешить много сложных вопросов. Что же бы было, если бы вся интеллигенция принялась за работу!

ПРОТИВ ПРАВЫХ ЭСЕРОВ

1 апреля 1917 г.

На Пасху наметился целый ряд бесед и в городе и в деревне. Семь — восемь товарищей едут по волостям.

Теперь, когда я пишу эти строки, они уже возвратились. Результаты самые разнообразные. Одному с трудом удалось собрать тридцать — сорок человек, у другого в одном селе собралось свыше двухсот человек.

Старики жалеют батюшку-царя, женщины просят побольше хлеба. Знают, конечно, весьма мало, а из того, что знают, — многое в извращенном виде. Понимают туго. После одной беседы товарищу говорили: «Вот оно и хорошо. Мы на эту самую собранью пошлем Ивана Прокофьича. Он дело наше знает хорошо, глядишь, что и выйдет. . .».

Товарищ уверял, что от каждой деревни или даже города посылать представителя не придется, — слишком, дескать, много их на собрании будет. Весть эта принята была с сожалением. Волнует и успокаивает в то же время дело с землей.

Все они твердо верят, что земли прибавится, что дело это пустяковое и решить его можно «в полчаса»; пошел, облюбовал и запахивай, думать долго нечего.

Пока что, — темно и безотрадно.

Неожиданности, конечно, нет, а печаль все-таки остается.

2 — 9 апреля 1917 г.

За пасхальную неделю каких-либо особых фактов и осложнений не было. Так же велись беседы, так же устраивались собрания и совещания. Между прочим, Комиссией по внешкольному образованию решено открыть книжный склад, на что городское самоуправление должно отпустить 35 тысяч.

В ближайшие дни реорганизуется на демократических началах Городская управа. Коренной ломки, как видно, не предполагается. Старый состав будет пополнен представителями различных демократических групп.

Устроен был диспут «О войне». Чистый сбор в пользу клуба «Рабочий». Собралось свыше пятисот человек. Прения носили горячий характер. Мне пришлось выступить докладчиком. Даже не знаю, с чего начать, когда подхожу к этому знаменательнейшему и памятнейшему дню моей жизни.

На заре общественной работы мне пришлось вынести тяжкое испытание.

Я до сих пор не соберусь с мыслями. Винить тут, пожалуй, и можно было бы кой-кого, но чистосердечно разбираясь, анализируя и сравнивая, — вижу, что виной явилась все та же наша неподготовленность, растерянность и слабость.

Расскажу сначала про самый факт.

В вопросе об отношении к войне, само собою разумеется, мне пришлось наткнуться и на вопрос о 8-часовом рабочем дне. Только что накануне была у меня беседа в другом месте на ту же тему. Признаться, за последние дни газеты только случайно попадали мне в руки. А теперь время такое, что пропустить и один день опасно. Как раз на этом самом я и попался. В свое время было такое газетное сообщение:

«К рабочим Путиловского завода подошли солдаты и требовали возобновления работ. . .»

Оказывается, что после было опровержение этого факта, — опровержение от имени упомянутого в сообщении полка. Ничего не подозревая и будучи принципиально за 8-часовой рабочий день даже в условиях данного момента (поскольку он сводился лишь к повышению заработной платы, но не уменьшению вырабатываемых товаров и проч.), — я привел вышеуказанный факт, желая оттенить настроение солдат и их взгляд на сокращение рабочего дня.

И, господи, боже ты мой, что тут поднялось! «Провокация!» — закричали в углу. — «Долой, долой!» — закричали в стороне. — «Долой!» Я спокойно стоял и ждал конца; волнения большого не было; я был только ошеломлен неожиданностью. (После, между прочим, мне даже заметили о проявленном самообладании, хотя тут чего-либо сознательно-сдерживающего с моей стороны не было, я просто застыл.) Крики не умолкали.

«Товарищи, я прошу докончить, я. . .»

Но толпа заревела пуще прежнего. Загремел колокольчик председателя. Все притихли. Он уличил толпу в насилии над правом оратора, высказывающего «свой личный взгляд» и просил дать слово. «Просим, просим», — закричали со всех сторон. Мне сделалось смешно и грустно от этого внезапного поворота. После эта же толпа аплодировала мне, — тому, кого только что хотела прогнать.

Потрясение было жестокое. Мои разъяснения не дали желанного результата и у большинства осталось впечатление, что я против 8-часового рабочего дня. А на улице какая-то озорная бабенка, собрав товарок, кричала:

«Он богач, он сам купец — я знаю. А фабриканты дали ему взятку, вот он за них и говорит. . .» После таких неожиданных выводов становится тошно. Нет сомнения, что авторитет мой поколеблен (а я знаю, что кое-какой авторитет был).

Каждое выступление теперь будет встречаться недоверчиво. Вместо благодарности теперь можно ждать только шиканья и освистания. Может быть, я и преувеличиваю, но, учитывая всю быстроту распространения подобных вестей, можно думать, что извращенное толкование моей речи распространится широко. Обидно и скорбно. А теперь тем более. Насколько я знаю, у фабрикантов было собрание и вопрос о 8-часовой работе вырешен положительно. Отрезаны, так сказать, пути к выяснению правды. Предполагался еще диспут о 8-часовом рабочем дне, но он уже утерял остроту,— теперь эта тема не очередная, да и не собрать такую огромную аудиторию.

Это неожиданное событие заставило меня призадуматься еще больше над той громадной ответственностью, которую мы несем за каждое, с трибуны высказанное, слово. Взвешивать приходится не мысль, не фразу, а именно каждое слово. Если в таком котле повариться два-три года, можно выйти хорошим общественным работником и честным человеком. Все время надо быть на чеку, ко всему надо быть готовым, все знать, во всем разбираться быстро и правильно, — самая ничтожная ошибка уже грозит большими последствиями.

Теперь такая масса всяческих вопросов, что голова кругом идет. Отовсюду вопросы. Надо быть в курсе партийных работ, помимо знания программы и разногласий; надо быть готовым на массу вопросов по поводу предстоящего Учредительного собрания; знать профессиональные союзы, историю революций, революционную литературу, постановку библиотек, аграрный, рабочий и крестьянский вопросы, городское и земское самоуправление, историю взаимоотношения держав, формы государственного строя. . . А все ведь это новое, мало или совсем незнакомое. Начинать приходится с азов, а перед тобой многочисленная аудитория со всем ужасом темноты, со всей неожиданностью вопросов. Котел очищающий, — не

спорю; закалка богатая, страха и робости нет, но порою стыдно за это самое бесстрашие и решимость. Ночью познакомишься с историей профессионального движения, а днем уж надо излагать и объяснять его другим. И когда сыплются благодарности, сочувствие, — невольно подымается вопрос: «а что, все наше общественное строительство, — не так ли случайно росло и создавалось? Не в этом ли, не в нашей ли пассивности причины российской тьмы?» Ведь наша политическая подготовленность худшего желать не оставляет. Мы застигнуты революцией врасплох. И не диво, что при таком руководительстве есть и будет так много грехов.

14 апреля 1917 г.

Совершаются ужасные дела. Каждую ночь вырезают несколько человек. Резня началась еще две-три недели назад. Верст за 30 отсюда (Шуя) была вырезана семья. Тогда же явилось предположение, что все эти ужасы — дело сорганизованной шайки, отдельные звенья в системе черных дел. Потом как будто замерло. Целая неделя прошла спокойно. И вдруг поднялась ужасная резня. Слухи, конечно, преувеличили дело до небывалых размеров, но фактом остается, что за две ночи было вырезано больше десяти человек. Одну девушку зарезали средь бела дня. Милиционер был зарезан в людном квартале — у станции. Вся резня — случайно или неслучайно — производится в рабочей среде. Не тронут ни один фабрикант, торговец, интеллигент... Грабежи редки; видно, что главное не в них. Некоторые случаи заставляют предполагать месть, некоторые — грабеж, но общее мнение все-таки склоняется к тому, что здесь система, организация, большая черная работа. Всех ошеломило известие об открытой шайке. Поймали мальчишку лет 17-ти, хотели растерзать на месте, но потом перепугали пыткой. Наглядно показали, как будут ему отрезать одну часть за другой, как

станут мучить. Толпа была страшно возбуждена, ревела, и не пожалели красок на картину страшной пытки. Мальчишка осатанел от ужаса и выдал соучастников «товарищей»... Огромная шайка скрывалась в подземельи с массою тайных ходов, где было проведено и электричество и телефон... Катакомбы рылись много лет, земля принадлежит кулаку-староверу, занимающемуся, между прочим, скупкою краденых вещей. Старика, сына и зятя увели под конвоем. Многих отыскали в сене, в печах, в гробах, которые стояли в подземельи; дом хотели поджечь, но страшный ветер заставил остановиться. В подземелье входить еще робеют,—думают, что там осталась значительная часть шайки. Есть мысль пустить туда удушливые газы. Переловлено до восьмидесяти человек. Есть слух, что на выручку им уже торопилось двести человек, но они были своевременно перехвачены солдатами. Город замер в страшном ужасе. Всюду плачут и трепещут. Не спят ночи — сидят и ждут. По улицам ходят патрули; жители на сходах порешили от себя каждую ночь ставить еще несколько человек. Ужас невообразимый. Напряжение достигло апогея. Все страшно измучились: не спят по ночам, сидят с гирями, с ножами, с кочергами. Трепещут и ждут злодеев. Каждый шорох вызывает дрожь. Детишки плачут, старшие сидят с возбужденными лицами, с горящими глазами. Настроение подавленное. Каждую ночь систематически режется несколько человек.

Вчера праздновали 1 Мая. Это странное торжество: горе и опасение чередовались с радостью, словно солнце выглядывало из-за туч. Предполагалось итти в лес, в поле... Народ колебался — и хотелось порадоваться на свободе и боялись оставить свои квартиры. К счастью отвратительная погода разрешила все колебания в одну сторону. Шел снег, дул ветер, ударил крупный град. Народ стоял под красными знаменами и слушал речи. Это был сплошной гимн Пер-

венцу-Маю. Потом зароптали, словно волны заходили, загудели сомнения. Сперва тихо, потом все явственней, все громче стали требовать, чтобы ораторы говорили о страшной резне: кто повинен, кто подкупает, кому все это нужно, если уж ясно, что режут не из-за грабежа. И народное негодование мигом обратилось на тех негодяев-торговцев, которые устроили в 1905 г. еврейский погром, которые убили тогда революцию, а теперь, как пауки, впились в население. Стали выкрикивать отдельные фамилии. . . Но пока на этом и кончилось. Толпа ушла с флагами, с песнями.

Поздним вечером на площади собрались снова, требовали ареста крупных торговцев, известных негодяев. Была вызвана рота солдат и тузов захватили. У рабочего поотлегло от сердца. Теперь он верит, что резня прекратится, потому что некому будет платить за отрезанную голову. Так кончилось великое торжество 1 Мая.

19 апреля 1917 г.

Жгучих вопросов так много, что ни один из них не продумывается, ни к одному нет спокойного, объективного отношения. На сцене новая чехарда, только не чехарда министерская, а чехарда вопросов современности. Война, Временное правительство, Учредительное собрание, рабочий, крестьянский, аграрный вопросы, — вот неполный перечень мучительных вопросов, скачущих друг через друга. Положение чем далее — тем запутанней. Как расплавленная лава мчатся они один за другим, ударяются в рыхлую стену возбужденного народа, клокочут меж спутанных рядов, ищут выхода, сжигают мучительным, страстным дыханием. Вся эта масса трепетных вопросов примчалась мгновенно, подобно урагану; захватило дух неготовому путнику, закружило его, как былинку, в безудержном, всесильном вихре. Лозунги пользуются огромным почетом, — лозунги кратки; лозунги смелы; ло-

зунги приближают царство социализма. Наша интеллигенция оказалась не только неподготовленной, но и робкой.

Отдельные голоса лучших ее представителей тонут в море протестующих голосов, в которых слышится больше страденья и жажды полной истины, чем силы убеждения. На лозунгах останавливаются единственно потому, что они поразительно просты. Они просты, как всякая мечта, как всякое благородное желание. Но от мечты к делу путь лежит через тернии; он полон сомнений и мучительного сознания невозможности быстро приблизить желанное счастье. Лозунг — это принцип, во имя которого ведется борьба. Лозунг чтит и уважает каждый, кому дорога народная свобода и народное счастье. И не самые лозунги порождают борьбу, а та форма, в которой должны они осуществляться. Эта форма обусловливается различной тактикой, а разница тактик делит единомышленных борцов на враждебные лагери. Интеллигенция должна собрать всю свою духовную мощь, напрячь до крайней степени работу мысли, выступить смело, твердо, определенно. В ее руках сосредоточилась сила знания, в ее руках вся многовековая работа человеческой мысли. К этому алтарю пробивались только отдельные счастливцы из темных рабочих масс. Им некогда было думать о небе, — за спиною стоял мучительный голод и пригибал свободную мысль к земному уделу, к заботе о хлебе насущном. В руках интеллигенции весь опыт всемирной борьбы угнетенных против своих угнетателей; в ее руках все протоколы бедствий, приходивших на смену благородной мечте, когда эта мечта сбивалась с пути; в ее руках вся эта сила и весь этот ужас непоправимых ошибок, источников сугубого народного горя. Интеллигенция молчит. Она или прячется пугливо, или робко поддакивает возбужденному народному гулу. Мы знаем, отчего гудит народ: он перестрадался, у него терпенье порвалось, как давно рыдавшая струна; он уж много раз приближался

к светлой мечте и много раз темные силы сталкивали его обратно в черную бездну невежества и горя. Теперь он снова вырвался из бездны и снова боится сорваться на дно. Ему страшно, его терзают воспоминания, и как не понять его страстное желание единым ударом сокрушить вековое зло и утвердиться на новой грани, — на грани пропасти? Как не понять его жгучих лозунгов, его слез, его негодования? Он идет напролом и жалеть ему нечего. В прошлом — одно только горе, одно мучение. Но борьба за лозунги требует большой осмотрительности, большого такта, большого уменья. Ослепленный нахлынувшим счастьем, разъяренный ненавистью к старому злу народ не может спокойно принимать этот крутой перелом. Он, как пущенный шар, мчится по склону горы и куда его вынесет тайная сила — в бездну или на горный хребет — кто скажет?

4 мая 1917 г.

Инициативная группа трудовиков (2 чл.) созвала организационное собрание «во всех залах реального училища».

Докладчик об истории трудовой группы, В. К. А., был жалок; или он ничего не знает, или заробел не в меру. О платформе трудовой группы доложил тов. Полюшкин.

По окончании докладов — одного безумно краткого, другого бессильно долгого, — выступили оппоненты-большевики. Цели их были явно обструкторские. Они решили говорить один за другим, затянуть собрание, утомить публику, заставить ее разойтись, не дав записаться в члены. Говорили жарко, безумно смело, определенно, прямолинейно. Они костили докладчиков на чем свет стоит; говорили не по существу, едва не касаясь личности. Когда обструкция выявилась окончательно, было предложено ограничить время ораторов и прекратить запись. Но было уже поздно. Часть публики разбрелась, другая недоумевала.

Докладчики оправдывались, но большевики даже не сочли нужным выслушать возражения. Всею гурьбой человек тридцать—сорок они шумно поднялись и покинули зал. В члены никто не записался. Собрание не удалось. Грустно было за то, что организаторы по своей вине провалили дело. Они совершенно не предусмотрели этой заурядной выходки. Кроме того, они слабо знают свою платформу.

Примыкая по убеждениям к социалистам-революционерам, я был подавлен этой неудачей ближайших товарищей. До сих пор я еще не зафиксировал себя за партией, но теперь, уезжая беседовать по деревням, со спокойной душой беру мандат эсеров.

16 июля 1917 г.

Надо говорить откровенно: до революции мы, интеллигентская молодежь, в большинстве своем ничего не знали о политической борьбе, ничего не понимали в политических лозунгах, потому что нельзя же считать политическим образованием нашу «эрудицию», почерпнутую в «Русском Слове». И вот, с первых дней революции, мы дело себе представляли весьма просто: свергли царя, поставили новых министров, ну и дело с концом.

Как будто черная сотня разбита, как будто у демократии с буржуазией одинаковые цели, как будто Англия и Франция нам истинные друзья, как будто спокойствие, а не углубление революции, — теперь главная цель. Да тут еще надо присовокупить, что многие из нас по старой привычке продолжали читать одно только «Русское Слово»... Из совокупности всех этих причин для нас, безграмотных политически, вырисовывалась лишь одна дорога — тихого дожидательства, всяческого доверия и сладкой радости по случаю свержения царя Николая. Собственно дальше свержения наша мысль не

работала; остальное мы готовы были поручить устроить тем лицам, которые взяли главенство в первые дни революции.

«У нас есть Временное правительство» — заявлял в толпе Родзянко, — тогда еще герой дня. — «Цензовое» — кричали в толпе. . . — «Да, цензовое, но. . .»

И вот нас удивляло тогда это недоверие: раз честные люди г. Милюков и Терещенко, — так почему бы им и не доверить дело устроения России?

Мы тогда еще ничего не знали, мы тогда ничего не понимали. Лишь теперь, почти через пять месяцев постоянной, напряженной работы, постоянных споров, бесед, чтений и лекций, — лишь теперь многие стали примечать свои первоначальные ошибки, стали сознаваться, хотя бы перед самим собою, в политической своей безграмотности и отрекаться от того, что по неведению исповедывали три-четыре месяца назад.

И нечего стыдиться, друзья! Смело заявляйте о происшедшем в вас переломе; это только засвидетельствует ваше честное отношение к исповедуемой истине, вашу искренность.

Вы не могли остаться безучастными зрителями совершающейся революции, вам хотелось дать и свою лепту на постройку здания новой жизни... И вы, без малейшего багажа за душой, рванулись к делу, движимые благородным порывом. Теперь вы многое видели, многое слышали, — неужели же и теперь вы остались все теми же близорукими и ощупью идущим людьми? Я смотрю на себя и поражаюсь той перемене, что совершилась во мне, главным образом за этот последний месяц. Как наростал, как собирался этот перелом, — я все еще не могу уяснить себе окончательно.

Два месяца назад я уехал по деревням. Взял мандат от местного оборонческого комитета социалистов-революционеров. В плоскости эсеровского пониманья вещей я и вел

свои беседы в течение первого месяца. Но вот совершилось наступление 18 июня. В те дни я был в Лежневе.

Помню, подбежал ко мне солдатик и крикнул впопыхах:

— Товарищ, сегодня пришла весть, — у нас громадная победа. По этому случаю устраиваем благодарственный молебен. Скажите, пожалуйста, речь после молебна, чтоб поднять дух...

— Нет, заявил я, — не могу. Радоваться тут нечему: мы ли побили, нас ли побили, — горе одинаковое, страданья одинаковые, — для меня тут нет никакой радости...

Сказал я это как-то машинально. До сих пор, надо сознаться, я мало размышлял об отношении к войне революционных интернационалистов, но в эти дни я почувствовал, нутром почувствовал, что правда именно на их стороне. Я стал приглядываться к взаимоотношениям крестьян и пленных и увидел, что они совсем не враги, что кто-то жестоко нас обманул и умышленно натравил друг на друга. Я сделался в душе интернационалистом. В соответствии с происшедшим во мне переломом изменилась и сущность моих бесед.

Тогда я ничего еще не знал о «левом крыле партии социалистов-революционеров», так как во время работы по деревням газеты читал редко, из пятого в десятое.

Когда приехал в Иваново и высказал свой взгляд на войну, — местный оборонческий комитет предложил мне выйти из состава партии как несогласному с его основными положениями. Я ушел. И теперь передо мной встает задача организовать здесь комитет социалистов-революционеров интернационалистов.

18 августа 1917 г.

Отколовшееся от эсеров «левое крыло» не подает о себе вести.

У него нет своего органа.

Кто им руководит, какова тактика вождей, какова сила? Мы решительно ничего не знаем.

Я говорю «мы», потому что за этот последний месяц в местной эсеровской организации произошел раскол. Оказалось много интернационалистов. И теперь перед нами задача: основать ли свою отдельную фракцию, или работать совместно и только реорганизовать комитет. Дело в том, что травля партии на партию и фракции на фракцию достигла кульминационного пункта. Рабочий устает, растеривается, не знает, куда преклонить голову, потому что — «все же социалисты». Или, вдаваясь в крайность, начинает презирать все иное, кроме своего. Необходима какая-то организационная перестройка, — это ясно. Не соглашательство, а уяснение бессмысленности дальнейшего раздора перед лицом общего врага, — надвигающейся контр-революции, которая заявила о себе открыто на Московском совещании.

Затем взошла звезда Керенского. Мы плакали от радости, мы слепо верили его беспредельной честности и государственной мудрости, памятуя жгучие речи в последней Думе. И когда шаг за шагом, вглубь и вширь размахивалась революция, когда мы усвоили политическую азбуку, — мы поняли, что Керенского мало. . .

«Война до конца»... Мы готовы были тогда поддерживать даже этот преступный клич, мы тогда еще не знали, не понимали суровой всемирной подоплеки безжалостной резни, не подозревали в числе иных причин войны наличности вековой классовой розни. Когда мне стали ясны скрытые пружины мировой трагедии, когда я с ужасом оглянулся на только что пройденный путь, полный жестоких преступных ошибок, — я бросился бежать без оглядки и примчался к крайнему левому берегу.

Я все же не знаю — кто я. Только ли социалист-революционер интернационалист, или максималист.

У меня нет никаких руководств, я ничего не знаю об органах эсеров, потому что и «Трудовую республику» закрыли. Мои письма пропадают даром. Сегодня послал письмо М. Горькому, прося навести возможные справки. Я кидаюсь во все стороны, ловлю слухи, вырезаю и записываю что только можно, и все-таки не имею перед собой общего, ясного плана работы.

Я всегда завидую большевикам, которые имеют руководящий орган.

Местный Совет рабочих и солдатских депутатов кооптировал меня в Исполнительный комитет. Интернационалистские взгляды позволяют мне вести пропагандистскую работу в контакте с большевиками. Местный эсеровский комитет с Советом в раздоре.

И вот теперь, организуя максималистскую фракцию, — партию, мы стоим на распутьи.

Теперь, когда назрела настоятельная необходимость в единении, когда дальнейшая вражда может привести к погибели и тех и других, — есть ли смысл нам откалываться целиком в свою отдельную, независимую партию?

Но, с другой стороны, как же можем мы, состоя в партии, не подчиниться ее решениям, как можем агитировать не в духе ее оборонческих и примиренческих постановлений?

Расколовшись, мы должны разойтись и, может быть, врагами. Оставшись вместе, мы должны мириться с ежедневными компромиссами, должны покорно выполнять волю большинства и в открытых собраниях высказывать свои заветные мысли только как «личный взгляд».

По существу наша тактика должна быть такой: не внося резкого разделения по линии максимализма и минимализма, мы обязаны строго ограничить свои интернационалистиче-

ские убеждения от всяких поползновений со стороны. Здесь мы будем непримиримы. Мы понимаем, что, создавая «п а р т и ю в п а р т и и», — тем самым как бы дезорганизуем общепартийное дело, но, выражаясь словами «декларации левых», «мы признаем себя не в праве дольше подчиняться указаниям руководящего большинства, по глубокому убеждению нашему, ведущего п а р т и ю к падению»...

Поэтому мы, во имя идеи единства, не затворяемся наглухо от инакомыслящих товарищей; мы будем внимательны к их доводам, мы будем пытаться находить единую равнодействующую, но мы в то же время и не можем забыть, что водительство партийной жизни находится в руках «группы, которая во время войны стояла вне Интернационала».

Поэтому никакие постановления партийных съездов не могут служить нам инструкцией, поскольку дело идет о принципиальной их неприемлемости. Мы предложим двуединую организацию, где единодушные постановления, равно как и постановления компромиссные, будут регулироваться единой тактикой. В случае же коренного расхождения, будем выступать самостоятельно как социал-революционеры интернационалисты, имея руководством лишь общую линию поведения своей группы в целом. Мы организуемся на тех началах, на которых меньшевики интернационалисты на частных совещаниях в Москве 6 и 8 августа решили организовать свою особую группу:

1. Внутри меньшевистской партии организовать группу меньшевиков-интернационалистов.

2. Группа меньшевиков-интернационалистов имеет целью проводить как внутри меньшевистской организации, так и в рабочей среде идеи и лозунги интернационализма.

---

[1] Соц. демократ, № 133, от 15 авг. 1917 г.

3. При работе в административных и беспартийных учреждениях (Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, Думы и т. д.) группа стремится самостоятельно проводить свою платформу.[1]

Именно так поступаем и мы.

«Не порывая организационной связи с партией, определенно и твердо отграничиваемся от политики, усвоенной руководящим большинством, сохраняя за собою в дальнейшем полную свободу выступлений в духе указанных в декларации положений».[1]

Мы предложим местной организации партии вступить на этот, единственно приемлемый для нас, путь совместной работы. Пусть организация берет на себя смелость ответить перед Центральным комитетом партии, который заявил, что:

«Все организации, подписавшиеся под воззванием «организационного бюро левого крыла партии социал-революционеров» в № 85 Петербургской «Земли и Воли», этим самым поставили себя вне партии. . .»

А потому рекомендует:

«Всем верным сынам партии немедленно выступить из них».[2]

Короче говоря, Центральный комитет отлучил нас от партии, а тем самым, разумеется, освободил и от подчинения общепартийным постановлениям и резолюциям.

Он не указал только форм возможного соприкосновения с нами ортодоксальных эсеров.

Исключение нас Центральным комитетом из партии, конечно, не заставляет нас перестать быть эсерами. Мы только перестаем быть ортодоксами, потому что знамения времени толкают на иной путь.

---

[1] Декларация левых эсеров „Новая Жизнь“, № 72, 1917 г.

[2] „Русское слово“, № 158, 1917 г.

Мы считаем Центральный комитет группой теоретиков, далеко стоящих от масс и пропускающих мимо всю огромную совокупность жизненных фактов.

Исходя из того основного положения, что, в соответствии с изменением условий жизни широких масс, должна меняться программа и тактика любой партии, — мы констатируем факт пагубного омертвения группы Центрального комитета, застывшего в низменных формах, и целиком принимаем утверждение «декларации левых социал-революционеров», что:

«Усвоенная руководящими кругами партии политика отталкивает от партии наиболее сознательную часть трудовых масс, до-нельзя затрудняет партийную работу в войсках, на заводах и в революционной деревне и грозит привести к перемещению центра опоры партии на слои населения, по классовому характеру своему или уровню сознательности не могущие быть действительной поддержкой политике истинного революционного социализма».

Время гонит вперед и вынуждает возможно чаще пересматривать даже самые поздние резолюции.

Все учащающиеся случаи объединения эсеров с интернационалистами на деле, а не на словах, только утверждают нас во мнении, что ответственные партийные руководители взяли неправильный курс как во внешней, так и во внутренней политике, расшатывая тем самым устои партии и сводя на нет ее былые боевые лозунги.

В подкрепление своего заявления о нарастающем партийном переломе приводим два факта из недавнего прошлого:

1) Рабочие трамвайного Золоторожского парка в Москве собравшись на соединенное собрание эсеров и большевиков . . . . вынесли резолюцию протеста против смертной казни, порицая Керенского за то, что он „благословляет и одобряет эту позорную бойню — смертную казнь...“. Вынесли требование прекращения травли против вождей революции — Ленина, Чернова, Каменева и др.

Требовали разгона Государственной думы и Государственного совета...

(„Соц.-Дем." № 133).

2) Центральный комитет съезда советов рабочих и солдатских депутатов постановил требовать от правительства отмены смертной казни. За это решение высказались там и соц.-революционеры.

Касаясь повседневной партийной работы на местах, мы отмечаем вообще полное несоответствие форм и направлений этой работы тем постановлениям, которые были проведены на третьем партийном съезде и тем принципам, которые были положены в основу этих постановлений. Этим указанием мы стремимся обосновать ту мысль, что партийный съезд, как представительство партийных сил в целом, стоит ближе к истине, нежели руководящая, верховная группа. Но эти силы, столь надежные в массе, на местах оказываются столь слабыми, что перестают руководствоваться общепартийными резолюциями, а прислушиваются больше, опять-таки, к голосу руководящей группы, проводящей свои взгляды через официальные партийные органы печати.

В виду изложенного, мы констатируем факт полного бессилия общепартийных резолюций и, как выхода из тяжкого положения, требуем реорганизации Центрального комитета.

25 августа 1917 г.

Сегодня в частной беседе решалась судьба местной эсеровской организации. Собрание было почти конспиративное. Мы еще держим в тайне пункты нашего ближайшего коллективного выступления. На первом же общем собрании будет произведен учет примыкающих к нам и противоположных сил. Если нас меньшинство — уходим и организуем группу максималистов; если большинство — предлагаем реорганизацию комитета, куда выставляем своих кандидатов. Разделение произойдет уже не только по линии интернациона-

лизма-оборончества, но и по линии максимализма-минимализма.

Вокруг комитета сгруппировываются наиболее сознательные члены, члены же рядовые ко многим вопросам конспиративного характера абсолютно не допускаются. Первое собрание должно быть тотчас за днем выборов. Идет работа по созыву «своих», т. е. рабочих и солдат.

Были рассмотрены основные вопросы текущего момента и выяснено наше к ним отношение, наш взгляд.

I. Временное правительство как орган власти с тенденцией соглашательства, компромиссов и явных отступлений от лозунгов истинной революционной демократии, подлежит упразднению.

Исключая все виды поддержки Временного правительства, мы не вступаем с ним в активную борьбу до тех пор, пока не будет у нас полной уверенности, что исход борьбы даст положительные результаты. Многие симптомы жизни свидетельствуют о близком восстании.

Факту свержения Временного правительства должен предшествовать факт образования верховных органов демократии, могущих заполнить пустоту. Мы не предрешаем вопроса о том, в какой момент и в какой форме должно произойти замещение. Органы демократии могут реорганизоваться теперь же, и тогда борьба будет заключаться в передаче власти Временного правительства уже существующим органам.

Может случиться и так, что восстание родит новые верховные органы и одновременное свержение Временного правительства поставит на очередь захват власти именно этими новыми органами.

Но, не делая активных выступлений в сторону свержения Временного правительства, мы стремимся разъяснять населению весь ужас и вред принятого правительством курса по-

ведения и, таким образом, удобряем почву для будущего, близкого восстания.

II. Смертная казнь безусловно осуждается и учитывается как один из симптомов надвигающейся контр-революции и военной диктатуры.

III. Контр-революция надвигается и поэтому максималисты должны быть готовы к террористическим выступлениям.

IV. Московское совещание дало возможность темным силам открыто произвести учет своей наличности. И не случайность, конечно, что предполагавшийся контр-революционный заговор совпал с моментом совещания.

Осуждается самым категорическим образом поведение на совещании Керенского и Брешко-Брешковской, изменившим окончательно тем лозунгам, которые провозгласила демократия в начале революции.

V. Войну прекратит лишь сам народ в лице такого органа власти, который не на словах, а на деле пытался бы всемерно приблизить мир.

Пути должны быть избраны решительные, включительно до разрыва с союзниками.

31 августа 1917 г.

И все это правда. То, что мы думали и говорили — все оправдалось на деле с поразительной точностью.

Смертная казнь на фронте и в тылу.

Фальшивое «доверие» Корнилова органам демократии.

Вывод из Петербурга революционных полков и замена их кавалерийскими и казацкими частями.

Совещание в ставке с приглашением командующих округами. Зловещие речи на Московском совещании — все это были симптомы контр-революции.

26 августа Корнилов через думца Львова, а затем и лично

(по прямому проводу) заявил правительству о своей воле на захват власти.

С ним туземные войска, с ним часть казаков и кавалерии, с ним обманутые пехотные полки.

Чем дальше — тем тревожнее; но вместе с тем яснее и определеннее единодушное выступление революционной демократии на защиту свободы. Все партии и организации временно спаялись единым порывом.

Мы не закрываем глаз на возможность, даже больше — на неизбежность — раскола вслед за разгромом контр-революции, но теперь — теперь мы имеем общего врага, и потому борьба наша будет общей.

28-го пришла первая телеграмма Корнилова. Город заволновался, закипел в вихре промчавшихся слухов, предположений и догадок.

Вечером состоялось экстренное заседание Исполнительного комитета с участием представителей от партий и революционных организаций.

Всего собралось человек шестьдесят.

Опасность спаяла всех.

Тишина была абсолютная.

С особенным вниманием выслушивали говорящих.

Одна за другой бежали телеграммы, — призывы к спокойствию, к необходимости быть готовыми выступить на защиту погибающей свободы... На бледных, истомленных лицах была решимость.

Глаза горели огнем отваги.

Это была величественная картина мобилизации разбросанных чувств и мыслей, мобилизация в едином моменте.

Тишину ежеминутно разрывал телефонный звонок. Тогда с небывалым напряжением вслушивались в каждое слово повторяемой телеграммы, записывали спешно, делали отметки.

Разошлись глубокой ночью.

Исполнительный комитет остался на посту.

Мы ночевали в Совете на столах, все время тревожимые телефонными звонками.

На утро к Совету стал сходиться народ и толпиться у столба, где вывешивались вновь приходящие телеграммы.

В полдень по всему городу устраивались митинги.

Еще накануне, в заседании, было решено создать революционный орган, который взял бы на себя всю полноту власти и заботу о спокойствии города.

В «Штаб революционных организаций» вошло десять человек: по три представителя от Исполнительного комитета социалистов-революционеров и социал-демократов и социалистических партий (социалисты-революционеры, большевики, меньшевики), начальник гарнизона, начальники милиции и боевой дружины и один представитель от Комитета общественной безопасности.

Первое собрание штаба было вечером 29-го.

31 августа 1917 г.

Город объявлен на военном положении. Власть официально переходит к начальнику гарнизона. Вчера он присутствовал на заседании штаба.

После речей, горячих и единодушных, решили работать совместно: штаб, начальник гарнизона и начальник милиции.

Один, не оповестив другого, не должен предпринимать каких-либо крупных, решительных шагов.

Лишь только полковник ушел, все переглянулись, улыбнулись.

— Держите ухо востро, — сказал Киселев, председатель штаба: — чорт его знает, кто он такой. Видели, как он насторожился, когда рекомендовали Евсеича начальником боевой дружины? Что за дружина, да какова роль? Надо быть

осторожными, не очень то распространяться в его присутствии. Я даже беспокоюсь — не авантюра ли вся эта Корниловская затея? Может быть, он хотел лишь создать повсюду военное положение, а там и прихлопнуть все дело. А? Как думаете?

Новая мысль товарища как-то всех передернула. Нам и в голову не приходило подобное соображение. Но неужели и Верховский?.. Нет, не может быть...

Впрочем, если «террорист-бомбист» Савинков — «правая рука» Корнилова, то...

Недаром Корнилов предлагал Керенскому устроить диктаторский триумвират: он — Корнилов, Керенский и... Савинков... Подозрительно...

А как у нас обстоит дело с оружием?

Начальник милиции и председатель полкового комитета успокоил окончательно. Оказывается, — все в надежных руках — бомбометы, минометы, пулеметы, винтовки, ручные бомбы и проч. Наготове и проволока.

Боевая дружина наметила план работы в среде гарнизона.

В нужный момент боевики, переодетые в солдатские шинели, увлекут за собой солдат и, таким образом, будут командирами маленьких войсковых частей.

Начальник гарнизона не опасен, потому что последний указ Верховского дает право полковому комитету смещать неугодных начальников. Этим разрешается все дело.

Долго еще сидели мы в прокуренной, наглухо закрытой комнате. За дверьми стоял часовой-боевик, никого не подпускавший к двери. Конспиративный характер заседания как-то особенно подымал дух и родил в высшей степени революционное настроение. Недаром здесь так единодушны были меньшевики, большевики и эсеры.

Здесь была кучка партийных работников, на время спаянных единою мыслью.

Мы знаем, что это единение недолговечно; что за разгромом корниловщины снова пойдем разными путями, но сейчас мы едины.

Большевики уже верхушками переплелись с максималистами. Часто прорывается у них мысль о немедленном захвате фабрик и заводов, о строжайшем контроле. Они прикасаются к максималистской полной социализации. Они уже начинают сомневаться в «естественном ходе событий», в концентрации производства и ближе, все ближе примыкают к максималистам. [1]

Эта боевая дружина при штабе, слитая из двух дружин — большевиков и максималистов, — она также свидетельствует о переломе, о сознании недостаточности приемов своей классовой борьбы.

Недаром большевики так часто за последнее время «б р а т а ю т с я», блокируются с максималистами. Это братанье диктуется железной необходимостью: одна часть берет от другой недостающие винтики и, таким образом, происходит выравнивание по общей революционной линии.

Социал-революционеры-оборонцы, на голову разбитые авантюрой Корнилова, еще цепляются за старые методы, но нет уже прежней у них уверенности, нет абсолютного преклонения перед тактикой руководящих кругов. Удары сыплются один за другим; партия раскалывается, и надо думать, близок день, когда революционно-социалистические массы потребуют к ответу своих бесталанных кабинетных вождей.

Близок день... Но он впереди.

А теперь, не закрывая глаз на скорый, неизбежный раскол, — теперь мы едины и охвачены единым гневом. Мы ве-

---

[1] Само собой разумеется, что в действительности дело обстояло совершенно иначе. Эти путанные мысли тов. Фурманова чрезвычайно характерны для понимания его политической эволюции к большевизму.

Р е д а к ц и я.

рим в победу революции, верим, что этот перелом будет плюсом в нашу сторону.

Слишком очевидны ошибки соглашателей.

Победа над Корниловым будет в то же время и победою левой революционной демократии.

3 сентября 1917 г.

Словно камень с сердца свалился, когда, наконец, порвали мы со своими «товарищами» оборонцами. Долго, с трепетом душевным, ждал я этого собрания, много волновался, много тужил, перед многим, скажу откровенно, растеривался до крайности, робел до невозможности.

Я, так недавно ставший социалистом, я, так мало еще ознакомившийся с основами социальных учений, — я брал на себя тяжкое бремя руководства группой максималистов.

Я понимал и видел, что иные из моих товарищей во многом будут ошибаться, порой прямо дискредитировать группу, а вместе с тем и подрывать веру в максималистов вообще. И это тревожило и волновало.

Сегодня мы откололись на общем собрании — ушло 19 человек. Мы предложили собранию выявить линию поведения организации; если эта линия будет интернационалистской, — мы согласны работать в контакте; если она оборонческая, — мы порываем с организацией связь и отзываем товарищей, которые прошли по списку в гласные думы. Первое думское заседание через неделю и у организации имеется возможность заменить выбывших членов следующими по списку.

Нас ушло 19 человек.

Завтра, на первом нашем собрании, изберем комитет и президиум.

Мы не имеем средств. Придется изощряться.

Работать будет трудно, потому что нет под руками культурных сил. Мои товарищи решительные и смелые люди,

но в смысле познаний сильно хромают. Придется провести с ними ряд бесед, объяснять политическую азбуку и программу максималистов.

Максимализм ими воспринимается лишь как форма активного действия, как интернациональная линия поведения.

Программная разница не занимает их. Несмотря на это, я все-таки принимаю тяжелое бремя руководства новой группой, потому что верю в успех нашей работы, в возможность планомерного политического развития товарищей.

Мы порвали — и стало легко.

Эти чудаки, Майоров и Салов («вожди» оборонцев), дело понимают таким образом: тов. Фурманов работает в Исполнительном комитете С. Р. Д. — следовательно он большевик.

Он, мол, сознательно дезорганизует партию эсеров и совершает тем самым нечестный политический поступок. Мысль дикая, несуразная. По недостатку времени ответить на эти измышления — да и на многие иные дикости — я не мог.

Теперь спешно и много придется читать; надо завязывать теснейшую связь с Кронштадтско-петербургской организацией; надо вести просветительную работу внутри группы и агитационно-пропагандистскую во вне.

Работы масса. А в Совете и того больше. И как только я справлюсь со всем этим, не знаю.

Связывает еще секретарство в девятке (Рев. штаб), которая теперь, пожалуй, скоро не разойдется, если учесть разрастающееся движение казаков.

Я ушел в работу с головой. И так это все непривычно, так ново, что голова кругом идет.

МАКСИМАЛИЗМ

4 сентября 1917 г.

Недаром мы максималисты. Даже и теперь, когда бояться некого, когда собираться можно открыто, — чувствовалось что-то таинственное, конспиративное в нашем собрании. Не белым днем, не в светлом зале мы собрались, а в полутемной, мрачной комнате, поздним осенним вечером. Засиделись до глубокой ночи.

Комитет и президиум были избраны быстро, без споров.

В комитет вошло двенадцать человек: Фурманов, Синицын, Балакин, Шабалин, Собинов, Тюленев, Яманов, Козлов Николай, Орлов, Балычев, Сидоров Алексей, Козлов Андрей.

В президиум — пять: председатель Фурманов, товарищ председателя Балакин, секретарь Орлов, товарищ секретаря Яманов, казначей Тюленев.

Говорили о дисциплине внутри и во вне группы, при выступлениях. Единодушно была признана недопустимость митинговой перебранки и обливания помоями социалистов другого лагеря.

Констатировали свою бедность, отсутствие средств.

— Товарищи, мы кровно заинтересованы в том, чтобы дело тронулось разом. Съежимся, победствуем две-три недели, но дадим что можем на общее дело. Для дела забудем

все, пренебрежем личными своими интересами. Поддержка средствами необходима...

И простой, бедный рабочий, которому захватили дух простые слова, выхватил из кармана две скомканные бумажки и нервно бросил на стол... Живо собрали полсотни...

При обсуждении вопроса о вступительной плате сошлись на том, что обязательной платы быть не должно, но каждому, вновь поступающему члену следует объяснить бедственное материальное положение группы... Пусть он даст хоть грош, зато будет чувствовать свою с группой связь, сознавать, что и он участвует в строительстве чем может. Назначили числа, в которые будут собираться добровольные взносы.

Здесь опять-таки чувствовалось нечто новое, — то, что отличает нас от других партий, где имеются обязательные взносы. Взносы, кроме целей помощи, будут свидетельствовать о том, что данный член принимает к сердцу интересы группы, — хоть грошем, но старается помочь ей. Поэтому будут исключаться те, которые два месяца не внесут ни единой копейки.

Толковали относительно здания, литературы, газеты, журнала. Надеемся, что все это наладится в ближайшие дни.

Ядро группы должно остаться строго конспиративным, и во все вопросы внутренней работы рядовые члены посвящаться не будут.

А внутренняя, ядровая работа предстоит большая. Народ наш все молодой, горячий, с большим рвением к знанию, обуянный до мозга революционным духом.

Уже теперь один из товарищей заявил, что возможно он скоро примкнет к анархистам, и просил снять его кандидатуру в секретари. Знаний нет, развитие слабое. И потребуются огромные усилия, чтобы в короткий срок усвоить нам элементарные истины социализма, программную разницу со-

циалистической партии, определить безошибочно свою тактику. На выступлениях, зарвавшись, товарищи могут оскандалиться и дискредитировать учение максимализма. Одной ненависти ко злу здесь недостаточно, требуются положительные, твердые, хотя бы и краткие познания. Во время вчерашней беседы мне стало особенно ясно, что в идейной работе, в пропаганде и агитации у меня первое время не будет надежных помощников и товарищей.

Техническая сторона работы ляжет на них, но одной техникой дела не подвинешь.

Сам еще не окрепший, сам еще не узнавший многого — я взял на себя трудное дело руководства целою группой. В какие формы выльется наша работа — сказать трудно; судя по рвению, она пойдет, и пойдет надежной тропой.

Мы будем часто собираться и в беседах разбирать свою программу. Будем писать доклады, — пусть они будут нескладны и смешны на первый раз, — будем спорить, будем учиться. В конце концов добьемся своего.

7 сентября 1917 г.

Собственно говоря, вся направляющая работа лежит на плечах трех человек:

Вас. Степанова, Алекс. Семен. Киселева и Мих. Александр. Колесанова, в то время как в Совете числится до двухсот человек, в Исполнительном комитете двадцать пять, а в президиуме двенадцать.

Это, действительно, самоотверженные, всецело преданные делу работники. Вы их в Совете можете встретить с раннего утра до глубокой ночи. Они дают инициативу, они отдают приказания и поручения, остальные только облегчают, по мере сил, многосложную их работу, являются рядовыми, бледными, по сравнению с ними, фигурами. Бледными не потому, что не могут быть яркими, а потому, что к делу

относятся как-то формально, как-будто пытаются лишь доказать, что и им не даром платится жалованье. Нет кровной связи. Нет беззаветной преданности делу.

Получается такая картина: три человека с утра до ночи работают не отдыхая, и получают по 150 руб., двадцать два человека появляются «налетом», чтобы только показаться, и получают... тоже 150 руб. И те — первые — безропотно переносят эту, казалось бы, вопиющую несправедливость. Здесь налицо поистине беззаветная, бескорыстная преданность тому единственно дорогому, за что они долгие годы скитались по тюрьмам и в ссылке.

Вспоминается один знакомый студент.

Был в свое время — во дни царского гнета — как будто застрельщиком, передовым, непокорным, бунтующим, и вдруг теперь, слышу, — работает на кадетов за 600 руб. в месяц. «Хорошо одевается и складно говорит», как донес мне один общий наш знакомый.

Вот она образованность, вот она моральная шаткость, — за 600 руб. продал человек свое святое-святых! Мы всегда должны остаться с народом, «навьи чары» кадетизма надо учитывать как гибельный путь к соблазнительному, преступному самодовольству.

Целый день Совет кишит приходящими, целый день надо успокаивать, разъяснять, помогать.

Взволнуется ли народ из-за голода, не хватает ли на фабрике подмастерьев, забастуют ли типографии, начнут ли вырубать крестьяне окрестные леса, появятся ли в городе погромные слухи, — все эти нужды и требования стекаются в Совет, все это ищет здесь разрешения. Доверие к Совету огромное. За полгода революции не было еще здесь эксцесса, который можно было бы объяснить непредусмотрительностью или преступной халатностью Совета. А все потому, что во главе стали честные, бескорыстные люди. Они забыли про

свою частную, личную жизнь, они оторвались от «старого мира» и кроме Совета ничего не знают. В данный момент лишь такая преданность и может отстоять молодую, чуть созревшую, вседемократическую организацию. Много и здесь, конечно, увидите и услышите болтовни и безделья, но без этого, видимо, не обойтись.

Ссыльные, особенно пробывшие в ссылке год или два, особенно любят похвастаться своими страданиями. К месту и не к месту напоминают они слушателю, что «когда я вот в ссылке был», «когда нас гнали по этапу» и т. д. и т. д.

Делается неловко, — бахвальство очевидное. Но это все люди мало серьезные.

От Киселева, например, пробывшего в изгнании что-то больше 15 лет, никогда и ничего про ссылку я не слыхал. Молчит и все работает, все работает...

Теперь вся эта работа еще не оценивается должным образом; надлежащая ее оценка придет позже, через два-три десятка лет, когда мы оглянемся на то, что и как мы строили когда-то давным-давно, в горячее революционное время.

Советские собрания еженедельны. Исполнительный комитет собирается минимум три раза в неделю. А о президиуме что-то и не слышно, — все дела решаются Исполнительным комитетом. Сюда стекаются отовсюду сведения: из комиссии труда, комиссии просвещения, совета солдатских жен, с биржи труда, из солдатской секции, конфликтной комиссии и т. д. и т. д.

Исполнительный комитет является чревом, которое кормится от собственных детей.



ОТВЕТ ОБОРОНЦАМ.

Товарищи. Вы все это дело понимаете как-то слишком схематично и примитивно.

Нельзя же думать, будто пришел вот «з л о й» тов. Фурманов (вы так и сказали «злой тов. Фурманов»), пришел, взбудоражил, мстя за беззаконное исключение, и увел за собою толпу непонимающих, слабых и темных людей. Это упрощенное объяснение отдает будничностью, серенькой, тусклой обыденностью. Дело обстоит совершенно иначе. Была готова почва для раскола, было ясно и определенно выражено требование отколовшейся группы, и передо мною стояла необходимость зафиксировать назревший раскол, потому что чем далее, тем тяжелей было им оставаться с вами, принимать и подписывать те резолюции, с которыми они не были согласны. Ведь получилась трагедия: человек убежден в одном, а говорит, вынужден говорить, совершенно обратное. Так было, напр., с тов. Балакиным. У себя на фабрике, после речи большевика, он должен был отвечать как официальный представитель оборонческой организации. Во взгляде на смертную казнь он согласен был с товарищем большевиком, а говорил иное, противоположное. . .

Конечно, его освистали, прогнали... И было бы за что страдать. Если бы он верил в свои слова, — тогда другое дело, но вы сами посудите, насколько тяжело было его положение. Это лишь один из сотни случаев. И надо положить конец этим бессмысленным, ненужным страданиям близких мне товарищей.

Ушли рабочие. И это симптоматично. Рабочие — революционный авангард; рабочие — наиболее беспокойная, действенная сила.

С вами останутся фельдшера, конторщики, всякого рода служащие и все те, кого мы называем «мелкой городской буржуазией».

Осмотритесь, на кого переносится центр тяжести. Осмотритесь и одумайтесь. Вы опираетесь на силу ненадежную. Солдаты и рабочие с нами.

За числом мы не гонимся, но скажем открыто, что настоящие демократы, даже оставаясь с вами, — душой будут с нами. Вы увидите, как скоро пополнится наш кадр.

Вы смеетесь и уже толкнули в паршивую газету дрянную статьишку о том, что я демагог, а идущие за мною — слепцы, не знающие, куда и на какую погибель идут. Что ж, политика дискредитирования, — ваша неизбежная, излюбленная дорога. Мы промолчим. А когда понадобится, скажем и свое простое, крепкое слово. Только браниться с вами не будем.

У вас ускользает почва из-под ног.

Корниловский удар пришелся вам прямо по сердцу. Вы посмотрите (или не видите?), какое брожение началось в эсеровских и меньшевистских рядах. Ларин ушел от меньшевиков, потому что стало не в мочь смотреть, как разрушаются «священные, старые храмы».

Петербургский Совет рабочих и солдатских депутатов принимает подавляющим большинством резолюцию большевиков по вопросу о Временном правительстве.

Московский Совет рабочих и солдатских депутатов принимает по тому же вопросу большевистскую резолюцию.

ЦИК Совета рабочих и солдатских депутатов принимает положение о власти «революционной демократии», которая на заседании 12 сентября решит, кому передать верховную власть.

Все это ведь победа революционной демократии, во главе которой стоят товарищи интернационалисты.

А для вас все это неубедительно.

Вы снова подыскиваете пути соглашательства, снова хотите «пожать Бубликову руку».

Каких же вам нужно еще доказательств того, что вы все время ошибались сознательно и бессознательно?

Вместо Корнилова вы подсунули нам Алексеева. Хрен редьки не слаще. Мы готовимся к новой встрече, ждем нового заговора.

Но мы не теряем момента, не спим, организуемся еще тесней и спешно организуем «Красную гвардию».

ЦИК полевел, но не до такой степени, чтобы отражать действительную волю низов, и потому мы требуем немедленного съезда Советов и перевыборов ЦИК'а.

Мы требуем, чтобы власть принял на себя этот новый, реорганизованный ЦИК.

Вы сдаете одну позицию за другой.

Вы перестали верить в Керенского. А почему? Потому, что стали понемножку протирать глаза, перестали итти «в темную», начали задумываться. На раздумье подтолкнул вас Корниловский мятеж.

Вас из спячки выводят только оглушительные, громовые удары. «Гром не грянет — мужик не перекрестится», — вот ваша тактика!

Так поймите же, наконец, что эта политика систематического опаздывания и близорукости грозит нам неисчислимыми бедами. Приучитесь, наконец, думать «на свободе», прежде чем «ударит гром на небе».

Нам с вами по пути, но мы торопимся, нам некогда. Мы верим, что железо куют, пока горячо. А вы по-другому мыслите: тише едешь и т. д.

Поспешишь — людей насмешишь, — вот ваша дорожка.

Что говорить, — так покойнее.

Только велика ли тут заслуга в этой расчетливости, в этой медленности, граничащей с неподвижностью?

Мы понимаем осторожность, но согласитесь сами, что ваша осторожность перешла в робкое выжидательное прозябание «в политических окопах».

Когда надо итти, - вы сидите; когда надо мчаться вскачь, — вы еле переставляете ноги.

Нам по пути с вами, товарищи, только вы слишком медлительны. Оставайтесь в окопах, а мы пойдем в атаку.

8 сентября 1917 г.

Он совершился вчера — разрыв окончательный и бесповоротный. У них была еще, повидимому, надежда примирить, сгладить, соединить несоединимое.

Были в запасе и фальшивые ласки, были оскорбления, язвительные словечки, насмешки и проч.

Когда примирение не состоялось, они пустили в ход тяжелую артиллерию. Но мы молчали. В наши задачи не входило целый вечер заниматься оскорблениями.

Как быть с Думой? — Этим вопросом они предполагали, видимо, оглушить.

«Если некем заменить — работать будем, но выступаем как самостоятельная группа, заявляя от своего — не от вашего — имени те или иные требования».

Заробели. Замялись. Зашушукали. Впрочем, один распетушился:

— Давайте, допустим, это ничего, — горячился он, — это как раз хорошо... Они будут солидарны, вероятно, с большевиками, с ними будут выступать и тем самым живо оскандалятся. Большевики в думах скандалятся, посмотрите, вон в Костроме.

Злоехидная затея товарища не была принята...

И правильно поступили, что решились, наконец, сказать определенно о согласии расстаться с нами.

А как им хотелось удержать нас! Как хотелось!

Желание прекрасное и осуществимое, если б вы могли взять хоть немного полевее, товарищи минималисты.

11 сентября 1917 г.

Минимум два раза в неделю собираемся на товарищеские беседы. Нам приходится спешно готовиться и постигать Трудовую Республику.

Работа, собственно, сводится к тому, что я знакомлю товарищей с основными положениями максималистов и параллельно разбираю социалистические программы.

Выявляется большой интерес. Возникает масса вопросов. Приходится быть универсальным и разрешать единым духом чуть не мировые проблемы.

Беседуем часа два-три обыкновенно в Совете. Нет у меня помощников, некому поговорить и потому беседы смахивают на лекции.

Чтобы иметь возможность снять здание под комитет, приходится подрабатывать — читать ряд лекций в ближайших городах и крупных селах.

Наши анархисты начинают все определенней заявлять о своих анархических склонностях. Предлагают, например, силой занять чужое здание под комитет. Но ясно, что, начиная прямо с захвата, — мы попадем в фальшивое положение. О нашем существовании еще мало кто знает. Ничем положительным мы еще себя не зарекомендовали, и этот преждевременный захват может лишь повредить общему делу. Чем больше читаю и толкую про Трудовую Республику, тем больше верю в ее спасительную роль.

Все-таки работников нет, и дело пока что не развивается. Ждем литературу и газеты.

Может, тогда и тронемся вперед побыстрей.

22 сентября 1917 года.

Я увидел их впервые — старых работников-максималистов: Нестроева, Тагина, Ривкина...

Максималисты устроили в Питере митинг. Между прочим, пришлось говорить и мне.

Потом Ривкин пригласил к Нестроеву, где собирались в эту ночь старые друзья.

Ривкин — маленький, худенький, бледный, с огромной черно-кудрой шевелюрой, с черной бородой, которую то-и дело потаскивает за кончик. Ходит как-то согнувшись, говорит, — смотрит задумчивыми, умными глазами прямо в лицо собеседнику. С ним я увиделся еще в Трудовой Республике, где забирал литературу.

Тагин — сухой, высокий, некрасивый с бесцветным лицом. Под очками не видно глаз.

Любит говорить и часто излишне пространно. Повидимому, неважный психолог, так как заморил утомленную аудиторию скучнейшим докладом о прибыли и убытке, заставил ее рассосаться и утерял за полчаса человек двести слушателей.

Нестроев—высокий, бледно-смуглый, с окладистой черной бородой. Ему, повидимому, лет 38 - 40. Красивый, неожиданный, нервный. Он все время как-то невольно повертывается во все стороны, словно ожидая нападения — плод долгой подпольной работы.

Нестроев встретил нас в корридоре и узнал только Ривкина. Тут был и старый работник, под кличкой «Я ш а».

— Тагин, ты!

— Я, братец, я...

— А это... постойте, постойте... дайте припомнить... Да это не вы ли, товарищ «Яша»?

— Узнал все-таки...

— Эх, друзья, друзья, а я думал, что вас уже вздернули всех... На-ко, снова пришлось увидеться...

Они весь вечер, всю ночь жались один к другому, обнимались по-товарищески, хлопали друг друга по плечу...

— А «Х» повесили, — сообщил Нестроев.

— Да, я знаю, — понурился Тагин... — Его повесили через два дня после нашего последнего свидания... Я чудом уцелел. Думал, что пропаду.

Вспомнили какие-то 30 тысяч, которые по одной версии были сожжены, по другой — присвоены.

Помянули проклятьем провокаторов, которых среди максималистов, к счастью, было мало.

И после чая начали толковать о необходимости создать центральный орган, о необходимости всероссийской конференции. Обсуждали и вопрос о возможности слияния с левыми эсерами.

— Но я предлагаю не нам слиться с ними, а им предложить слиться с нами. Мы и они признаем, что революция социальная, но одного их контроля недостаточно. Да и положение это у них нетвердое, колеблется постоянно. Спиридонова определенно заявляет себя максималисткой, только не говорит этого во всеуслышание и не доводит до конца своих мыслей. У левого крыла эсеров, несомненно, есть многое родственное нам...

— Однако, я знаю, товарищи, что в одном разойдусь круто со всеми вами, — в вопросе о федерации.

— Федерацию я не признаю, потому что мыслю Россию как единую страну, преследующую единые цели. Федерация — раскол и абсурд. В этом разойдемся.

Никто не возражал. Была уже поздняя ночь. Я ночевал в доме эмигрантов и на следующий день уехал из Петербурга.

23 сентября 1917 г.

Я был делегирован от местного Совета рабочих депутатов на демократическое совещание. Был и убедился в том, что пустой болтовни всюду достаточно.

Целые дни разные представители говорили одно и то же, одно и то же... Было противно, скучно и стыдно за них, не понимающих ненужности многословия. Мы понимаем, что надо заявить свою волю, но когда смакуют целыми часами давно уже пережеванное, — становится тошно. Ценны были лишь Церетели и Троцкий. Все остальное молотило и свистало по готовой дудке. И каждый считал своим долгом начинать с азов и рассказывать давно уже всем известное. Волновались, кричали, аплодировали, но ясно было, что примирить непримиримое не удастся.

Так и вышло, когда большевики покинули заседание. Часто упоминалось про гражданскую войну, и призрак ее уже реял над головами восседавших. Были фальшивые попытки примирения, были открытые угрозы. Страшный беспорядок, царивший на совещании, был в порядке вещей.

*

Сегодня наш комитет перешел в специально снятое для него помещение.

Без средств, почти без сил, — движимые единственным желанием поставить, укрепить и расширить начатую работу, — взялись мы за свое большое дело.

Помещение в зимнее время, плюс платный заведывающий комитетом обойдется самое малое рублей в двести ежемесячно, а средств нет. Из предполагаемых лекций провел я только одну, собрал несколько больше 100 руб. Сборы первого дня, вчерашнее самообложение (по 3 руб.) и лекция дали в общем до 200 руб., а размахнулись мы рублей уж на четыреста. Единственная надежда на лекции. Дней на десять оторвало меня совещание, теперь выбрали товарищем председателя в Совете, — так дело все и затягивается, все откладывается. А в Тейкове уже продано около полутора тысячи билетов. Никак не выберу времени съездить. При-

шлось отказаться и от работы на курсах: курсы отошли на задний план.

В Совете мне предстоит большая работа: чтение лекций на фабриках, в полку, у железнодорожников. Социализм, партии, конституции... Вот приблизительный цикл лекций.

Надо приучить всех к Совету, заставить полюбить Совет, почувствовать свою кровную связь с ним.

Только сотрудников не вижу, а одному не оказалась бы работа непосильной.

★

Особенно в ходу теперь своеобразный упрек:

«Ну, да что с ним говорить, он ведь и социалист-то мартовский». И когда я присматриваюсь к старым социалистам в массе, — вижу, что социалисты они только по давности, но не по знанию.

Среди максималистов есть и работники 1905 года.

И вот теперь, когда мне одному приходится вести всю работу пропаганды и агитации, — вижу, что марка «старого партийного работника» совершенно ничего не дает. Они ничего не знают, даже азбуку социализма.

Правда, это все простые рабочие, люди темные, необразованные, но ведь и не знают они самых элементарных вещей.

Жажда знаний у них огромная, но усидчивости, плана работы совершенно нет. Вот ходить на собрания, заседания, совещания и т. п. — это по душе, потому что все это легко и ни к чему не обязывает: пришел, послушал готовое, даже сам поговорил — и баста. А работы упорной, незаметной и необходимой, работы над собой, над собственным арсеналом, — нет. Все они попали в партию, влекомые понятным протестом, но почти все остались рядовыми членами, совершенно не работая над собою. Мало их, руко-

водящих и увлекающих за собою, — все больше инертные, ждущие, что работу за них выполнит кто-то другой. Потому и работать трудно, — помощников, сотрудников нет, а дело горит.

29 сентября 1917 г.

Теперь, почти через семь месяцев революции, ставится вопрос о реорганизации всего дела в Совете. Работали почти вслепую, от случая к случаю, без определенного плана.

В фабрично-заводских комитетах сборы поручались зачастую лицам ненадежным, и рабочие, вполне естественно, протестовали.

В Совете набрали целый штат служащих, а делать им нечего, потому что за всех работает один.

Подобные факты выдвинули на очередь вопрос о реорганизации Совета.

Надо будет поставить библиотеку, устраивать лекции и проч.

Все это было и раньше, все устраивалось, но как-то вразброд, без плана. Да и работников мало: всего лишь восемь — десять человек работает. А тут и всевозможные комиссии, и частные поручения, да и мало ли еще чего.

Надо проводить по фабрикам сборы, а рабочие противятся, — спеши разъяснить дело.

Нет хлеба, ситцу, — рабочие бунтуют, — спеши уговаривать.

Конфликт с хозяином, — спеши улаживать.

Просят провести митинг или прочесть лекцию, — отправляйся немедля.

А кучка работников все та же — маленькая, уставшая. Помощи ждать неоткуда.

Пробовали кооптировать, но кооптация делу помогает мало.

Словом, — недостаток работников, и только этим можно объяснить те несовершенства, которые можно наблюдать в работе Совета.

Будем верить, что по окончании войны (а дело идет к тому) придут к нам новые работники и разделят те тяготы и ту радость, которые теперь приходится брать на себя немногим.

*

28-го было очередное заседание членов нашего комитета. Я сделал доклад об истории максимализма. Товарищи выразили желание, чтобы я задавал каждый раз на дом вопросы, а они, продумавши, отвечали бы мне на следующем заседании. Связно рассказать не надеются, самой удобной формой первоначальных собеседований признают именно форму вопросов и ответов.

На том и порешили.

Следующая беседа об Учредительном собрании. Доклад сделает тов. Балакин.

Жажда знания огромная, но требуется палка. Об этом даже просят сами. Таковы уж все мы, что работаем только по приказу.

Литературы за день продали что-то рублей на сорок. Словом, дело пошло. Сидоров сидит в комитете с утра до вечера и пока получает всего 50 руб. Денег нет, но думаем, что скоро наладим и эту сторону.

*

Еще в тот самый момент, когда мы организовали группу максималистов, некоторые товарищи определенно заявили, что они больше анархисты, нежели максималисты, и в группе остаются временно. Однако, до сих пор мы работаем вместе.

Товарищи начитались анархической литературы, про-

слушали две лекции Тюханова и были зачарованы сказочным царством анархизма.

Теперь мы на грани полного разъединения. Приехавшие недавно два товарища-анархиста думают организовать здесь коммуну. Несколько человек из комитета, вероятно, уйдут, но комитет не умрет. Мы, оставшиеся, удвоим, утроим, удесятерим энергию, а комитету развалиться не позволим.

На окнах комитета и теперь уже красуется анархическая литература, и многие даже самый комитет называют анархическим. По существу мы очень близки, и весьма вероятно, что до поры до времени работать будем совместно.

30 сентября 1917 г.

О подмастерьях в Совете говорят довольно часто. Они требуют непомерно высоких окладов, пользуются тем, что их мало, что они нужны, а заместить некем. Даже сами рабочие жалуются, что подмастерья к ним относятся скверно. Сегодня в завком ткацкой Бурылина вбежала плачущая женщина:

« . . . сидят, как господа, — кричала она, — и подступиться нельзя: то курит, то «на двор» уйдет, то разговаривает с кем, — прямо подступу нет. . . А меня обругал, осрамил. . . »

Из-за подмастерьев однажды несколько дней не работало человек пятьсот ткачей. Был ропот, ткачи заявили в Совет. Помню, решено было даже устроить нечто вроде курсов для подготовки подмастерьев из наиболее пригодных и способных ткачей.

3 октября 1917 г.

Первая из намеченных мною лекций была в Кохме, еще недели три назад. Прошла она успешно. Две следующие были проведены в Тейкове. В общем, за три лекции со-

брали до 300 руб. Кроме того, продали максималистской и анархической литературы рублей на тридцать. В Тейкове лекции прошли так же успешно, как и в Кохме. Театр был набит битком. Несколько сот человек вынуждено было уйти обратно, так как здание не вмещает больше пятисот. С продажей литературы, как всегда, наблюдается неприятное явление: как только пустишь свободно, — непременно растащат на несколько рублей. Так было и в Тейкове, где растащили рублей на шесть. Надо думать, что в этом повинны ребята и подростки. Когда мы объявили о продаже литературы и раскинули ее по роялю, толпа нахлынула, и впереди очутились мальчуганы. За одним я приметил: взял несколько книжек, ничего не дал и спросил сдачу с трех рублей. В горячке разбирать было некогда и пришлось сдать. Но сами рабочие, взрослые, отдавали даже тогда, когда могли бы спокойно уйти незамеченными, не уплатив ни единой копейки.

Помещение театра низкое, душное. Накурили и надышали так, что после первой половины лекции я уже окончательно изморился и с большим трудом провел вторую половину.

На следующий день, говоря о Трудовой Республике, перерыва не делал и после лекции сделал небольшой доклад о продовольственном деле, после чего местные работники осветили положение дела на месте и призвали рабочих к спокойствию, опровергнув всяческие ложные слухи, распространяемые приспешниками капиталистов. Тишина во время лекции абсолютная. Некоторые полтора часа до перерыва сидели без движения. Особенно памятна фигура рабочего, опершегося локтем на передний стул, положившего голову на ладонь и так, без движения, просидевшего до самого конца. Кудрявый, белокурый рабочий, с умным, пытливым взглядом.

Билеты на первую лекцию распространили в два-три часа, а на вторую даже нехватило, так что вторую смену, кончившую в девять часов, пришлось поворотить обратно.

Тейкову надо отдать справедливость, — рабочие любознательны, неспокойны, каждый миг готовы выступить по призыву Совета. Там исключительно большевики. Иной партии даже и не существует. Большевики в Совете, комитетах, в профессиональном союзе... Они же в Земской управе, они и в Думе, где председательствует председатель Совета, тов. Коротков.

Пришлось мне быть на советском заседании. То же боевое настроение, что и у нас. Те же нелады ткачей с подмастерьями, что и у нас. Тот же неизменный вопрос повестки каждого заседания, — продовольственный вопрос.

Там за сентябрь получили рублей по двенадцати. Совет держит в своих руках рабочую массу и силою авторитета сдерживает ее от сепаратных выступлений.

Особенное впечатление произвело то место лекции, где я говорил о рабочей массе как о единой армии угнетенных и порабощенных и призывал, помимо партийных разногласий, помнить свое классовое единство и во имя его организоваться, сплачиваться теснее вокруг Советов, комитетов и профессиональных союзов.

В толпе виднелись радостные, улыбающиеся лица, сочувственные кивания головой, переглядыванье, поколачиванье по плечу и т. д.

Там до сих пор было устроено всего две-три лекции, и рабочие жаждут живого слова.

*

В Елюнино пригласили меня присутствовать на выборах Земской управы. Были настолько внимательны, что прислали на станцию лошадь и подкатили прямо к правлению.

Из двадцати шести гласных восемнадцать большевиков и только восемь эсеров. Как ни странно это с первого взгляда, а на деле очень понятно и вполне естественно. Я видел мужиков, годов под 50, в лаптях, в изодранных тулупах и нахлобученных шапках, и когда спрашивал: — Вы, товарищ, какой партии? — Крестьянин, чистокровный земледелец, отвечал: «Большевик».

Согласитесь, что странно это слышать от темного крестьянина, до сих пор инстинктом тянувшегося к партии социалистов-революционеров.

Причину этого следует искать в тактике самой партии эсеров. Крестьянину стало ясно, наконец, что там, наверху, что-то неладно, что настроены там слишком мирно, что, голосуя вместе с эсерами, «можно проголосовать и землю», как выразилась Мария Спиридонова, предупреждая демократию на петербургском совещании, о недопустимости голосования за каолицию.

И вот крестьяне силою вещей должны были порвать с той партией, которая утеряла былой революционный дух, силою вещей вынуждены были итти к большевикам. Они видели, что эсеры в деревне — это наиболее податливая, наименее революционная, самая зажиточная часть крестьян, т. е., что «в эсерах ходят» и лавочники - мироеды.

Эсеры в Кохме на выборах Земской управы блокировались с кадетами.

Этот факт окончательно раскрыл малоимущему крестьянину глаза и заставил его отшатнуться от эсеров.

В Кохме гласных большевиков двадцать два человека, остальных двадцать восемь. И вот эти двадцать восемь отказались от работы в управе, желая все взвалить на большевиков и дискредитировать их окончательно, всячески вредя и не помогая им в повседневной работе. Такая же картина наблюдалась и в Елюнине, где эсеры отказались дать своего

представителя в управу, несмотря на то, что большевики предлагали им одно из трех мест.

Говоря о личном впечатлении, замечу, что все эсеры, которых я там видел, произвели на меня прежде всего впечатление людей с коммерческой жилкой, буднично-практических, совершенно неодухотворенных какою бы то ни было высшею идеей, жалких скудоумов и возмутительных саботажников.

Они, собственно говоря, самые определенные мелкие кадетики, примкнувшие к эсерам лишь потому, что тактика эсеров совершенно не отличается от тактики кадетов и не грозит ввергнуть их в пучину борьбы.

Впечатление было у меня тяжелое и вместе отвратительное.

К эсерам перешел один из рабочих, получающий теперь до 300 руб. при готовой квартире и т. д.

Собственно, теперь он уже числится служащим. Рабочие помнят его как хорошего организатора-эсдека еще с 1905 г. и только диву даются, как могла его перекувырнуть эта сравнительная материальная обеспеченность...

Крестьянская Россия раскалывается. Отовсюду слышим, что крестьяне то здесь, то там провели в волостное земство большевиков. Это слишком характерно, симптоматично и показательно для оценки эсеровской тактики, которая даже Землей и Волей, писанными на бумаге, не может удержать крестьян в своих рядах. А когда-то было чем гордиться, было за кем итти, было за что бороться.

4 октября 1917 г.

Надолго останется в памяти этот проклятый день.

Измученные голодом, получив за месяц по 10—11 ф. ржаной муки, рабочие задрожали перед возможностью голодной смерти в самом ее настоящем, действительном виде.

Муки нет ни пылинки. Надежды на получение также нет. Возбужденные, плачущие приходили в Совет голодные женщины и просили как-нибудь помочь голодным ребятишкам, оставленным дома. Мы, разумеется, помочь ничем не могли. Тяжело и страшно было смотреть и слушать вереницу голодных рабочих, пришедших в самую тяжелую минуту к Совету, прибегнувших к нам, как к последнему своему оплоту, своей последней надежде.

В 12 час. в управе было назначено совместное заседание Совета городской, продовольственной и мануфактурной управ, фабричных комитетов и социалистических партий.

Когда мы пришли туда во втором часу, задержавшись в Совете, — народу собралось человек до сорока. Стоял невообразимый шум: кто-то кричал, кто-то требовал, кто-то упрашивал.

— Заседает! Кто заседает, зачем? Кто их просил без нас заседать? .. Вызвать сюда!

Это вызывали президиум частного заседания управ, вызывали силой, совершенно игнорируя то обстоятельство, что эти члены президиума, только на-днях выбранные ими же, — сами рабочие и всем известные заслуженные работники.

Скоро президиум вышел из комнаты и направился в зал, где все еще продолжали беспорядочно кричать и требовать.

Киселев попытался, было, призвать к спокойствию, хотел что-то объяснить, но говорить ему не дали.

Киселев, Степанов, Любимов смущенно вынуждены были ретироваться в сторону.

— Врешь! .. Будет уж, натерпелись за шесть месяцев... Сами теперь возьмем.

— А... вы от комитета? .. Нам комитеты не нужны! Нам нужны выбранные от нас...

— От комитета!.. Вот оно, смотрите, — горланил оратор, разводя руками перед толпой единомышленников; там только хлопали по бедрам руками, качали головами и кричали, кричали без конца. Наконец, столковались на том, чтобы выбранная тут же из пяти человек комиссия созвала в клуб к 5 час. представителей рабочих масс по десять человек от каждой фабрики...

На этом дело временно закончилось. Было уже около 3 час. дня.

Настроение присутствовавших было явно угрожающее.

Они совершенно игнорировали все общественные революционные организации и, не имея определенного плана, кричали только об одном:

— Вы нас все газетами да речами кормите. Нет, вы хлеба дайте! А то натрещали с три короба, а на деле — нет ничего!

— Мы не собаки, околевать не будем! Раз взялись, — значит и доставать надо.

— Разные там антимонии разводить нечего!

— Народ волнуется... завтра выйдет на волю. Нам Совет да комитеты хлеба не дали... толку большого мы в них не видим...

Приблизительно таковы были речи большинства выступавших ораторов. А когда я пришел на собрание, — в президиуме сидело пять человек, — именно из этих, вот, ярых крикунов.

— Партийные они? — спрашиваю соседа.

— Полноте, какие там партийные, самые черносотенцы...

Заседание проходило крайне беспорядочно: в толпе шумели и постоянно давали реплики.

— Господа, — заявил председатель: — на собрание пришли дать свои объяснения господин Латышев и Вас. Ив. Куражов. Желательно ли будет собранию их выслушать?

— Просим, просим! — загудела толпа.

Латышев и Куражов — городские купцы, пауки. Долго они говорили о трудности закупки, о непрестанных горестях, чинимых всяческими организациями и комитетами во время закупок хлеба.

После доклада Латышеву аплодировали и, надо сказать, аплодировали дружно.

Становилось страшно, на сердце было неимоверно тяжело.

Во время речи Латышева председатель все время смотрел ему прямо в лицо, заискивающе улыбался и сочувственно кивал головой.

Вышел говорить некто Балдинков или Дуденков, теперь уж не помню. Этот молодец Брюханова называл «господином Брюхановым», а Куражова и Латышева «товарищами».

Этот молодец сделал предположение, что кооперативы сознательно саботируют дело и сознательно ведут Россию на погибель.

А председатель все время молчал, лукаво поглядывал по сторонам и самодовольно ухмылялся.

Между прочим, когда Куражов спросил председателя:

— Меня сюда пригласил Совет рабочих депутатов — так? . .

— Н . . нет, — председатель замялся: — Н . . . нет . . . Это . . . Это, собственно, стихийное собрание.

И он был прав; собрание поистине было стихийное, и плоды стихийности были налицо: в президиуме сидели почти открытые черносотенцы, совершенно доселе не имевшие отношения к общественной работе. Они не знали ни Киселева, бывшего председателя Совета, ни Любимова, — город ского голову, — деятельного работника в партии и Совете, ни Степанова, с первых дней революции проводящего фактически советские заседания. . .

— Вы кто?

— Я Киселев.

— А кто вы такой, — ваш мандат?

Наконец, всю эту сволочь убрали. Один за другим стали выступать ораторы, старавшиеся поднять престиж революционных организаций на должную высоту. И толпа одумалась. А когда кто-то крикнул, что следует переменить президиум, толпа загудела, закричала «долой».

И черносотенную свору прогнали.

Председателем выбрали Жиделева.

Товарищами — Вас. Петровича Кузнеца и меня.

Вновь выступавшие ораторы окончательно утвердили поколебленный, было, авторитет Совета и комитетов и внесли целый ряд практических предложений.

Решено было создать особую коллегию из рабочих, в которую вошли бы по два представителя от каждой фабрики и завода.

Коллегия будет работать при Продовольственной управе, следить за ходом работ и держать непрерывную связь с избирателями, чтобы рабочие постоянно были в курсе всех продовольственных дел. Кроме того, были намечены делегации:

1) к Временному правительству,

2) в Отдел снабжения при Петербургском Совете рабочих и солдатских депутатов,

3) к Салазкину в Нижний и

4) на места закупок хлеба агентами Кинешемского союза, чтобы рабочие могли убедиться, как трудно закупать хлеб, как много на местах всяческих препятствий и самых неожиданных осложнений.

По возвращении делегаты расхолодят рабочую массу, убежденную, что хлеба нет лишь потому, что местная Продовольственная управа ничего не делает.

5 октября 1917 г.

Собрались представители фабрик и выбрали делегации.

Через спекулянта Кузнецова решили достать для рабочих (незаконно) до тридцати вагонов муки на деньги, собранные фабричными комитетами.

Продовольственная управа тут в стороне.

Пришлось бежать на фабрику Витова, откуда пришли печальные вести: рабочие вышли, кричат, волнуются и не хотят посылать делегатов на совещанье при управе. Пришли с Самойловым и после 20-минутной беседы убедили рабочих в необходимости выбрать представителей. Выбрали, послали.

Только что пришли от Витова, звонят и просят к Дербеневу.

Пошли туда с Балашевым, но дело оказалось ликвидированным: суматоху подняли две бабы, поругавшиеся между собой и втянувшие в перебранку собрание.

Сегодня совместное заседание с фабрикантами.

Завтра Продовольственная управа заседает совместно с уличными комитетами, фабрично-заводскими комитетами и общественными организациями.

Пришла телеграмма с известием, что к Иванову движется маршрутный поезд в сорок вагонов хлеба. И радостно, и не верится.

Состоялась беседа с товарищами железнодорожниками «О социализме». Явилось человек до ста.

Слушали с величайшим вниманием. Интерес, повидимому, огромный. Этими собеседованиями еще крепче спаивается железнодорожный комитет с Советом.

Теперь отношения между нами самые дружеские.

В Шуе совершенно аналогичная картина: то же движение вразброд, та же гоньба на Совет и фабричные комитеты.

ОКТЯБРЬ

26 — 30 октября 1917 г.

Надвинулись грозные события. Два месяца назад мы переживали такую горячку в корниловские дни. Теперь, повидимому, «дни Керенского».

Передаю только самое, самое главное. Вчера было заседание Совета. Последние дни и в рабочих массах и в полку мы подготовляли товарищей к событиям, которые можно было предвидеть с точностью до одного дня. Часов в 8 вечера я звонил в Москву. Редактор «Известий Совета» сообщил:

«Временное правительство свергнуто. . .»

Помчался, как оглашенный, в Совет, сообщил. Неистовый взрыв радости, аплодисментов, несмолкаемых криков восторга. Словом, все то, что было при свержении Николая II.

Только диву даешься: свергли «социалиста» Керенского, Александра IV, как говорят солдаты, — радость у всех настолько яркая, искренняя и огромная, будто свергли вампира, злейшего изо всех царей.

Выбрали революционный штаб из пяти человек.

Я состою в нем председателем.

Полк с нами, целиком стоит на защите Совета.

Наши ближайшие задачи: 1) немедленно ввести во всех учреждениях контроль революционного штаба, повсюду расставить караулы; 2) реквизировать средства передвижения; 3) установить связь с областью.

При разрешении первой задачи никаких препятствий не встретилось. Со второй — вышел казус. Когда запросили автомобильную команду, — ответ получили тот же, что и в корниловские дни:

«Автомобили поломаны». Позже оказалось, — разобраны.

Начальника автомобильной команды фата-офицеришку, яро ненавидящего Советы, постановили отправить на фронт или посадить под арест.

Связь с областью наладилась скоро.

Отовсюду запрашивали по телефону. Мы сообщали — что узнавали сами.

Между прочим, поздно вечером, местный железнодорожный комитет обратился с просьбой убедить Шуйский Совет снять свой контроль на станции.

От имени штаба, на свой риск, я снесся по телефону с Шуей, объяснил Совету, как обстоит дело с железнодорожниками у нас, указал, что мы работаем с ними в тесном контакте и считаем лишним свой контроль. Я предложил им немедленно снять контроль. Через полчаса местный железнодорожный комитет был извещен о том, что контроль в Шуе снят.

☆

27-го, в 10 час. утра почтово-телеграфные рабочие и служащие прекратили работу.

Прекратили потому, что считали принципиально неприемлемым рабочий контроль.

Мотивировали уклончиво, неопределенно; соглашались, что главная причина не в технических неудобствах, не в том,

что наши контролеры мешают работать, оскорбляют и проч.

Проскальзывала мысль о том, что Временное правительство является единственной властью, и иной власти они не признают. Они — частичка общего Союза, а ЦК в Москве распорядился прекратить работу немедленно, лишь только Советы поставят контроль. Они, следовательно, выполняли постановление ЦК, подчиняясь дисциплине, исполняя профессиональный долг. Но было тут что-то другое. Несколько человек главарей с кадетским образом мыслей подбивали, застращивали, вели за собою остальных. Надо было торопиться и принимать экстренные, решительные меры. Они предъявили свой ультиматум о контроле еще с 26-го числа, обозначив срок 12-ю час. дня 27-го. В 3 часа у нас было советское собрание. На это собрание мы и призвали их представителей дать точный, ясный, окончательный ответ.

Представителя они выбрали, повидимому, неудачно. Многие потом от него открещивались и не считали для себя обязательным и приемлемым его заявления. Он заявил, что почтовики

1) поддерживают целиком Временное правительство;

2) будут работать на обе стороны;

3) будут отсылать каждую телеграмму по принадлежности, не извещая о том Совет.

По всем трем пунктам его разбили и поставили в такое положение, что он должен был признаться, что не стоит в лагере революционной демократии.

Члены Совета были возмущены до глубины души.

Приняли суровую резолюцию:

Разрешить пятерке, в случае необходимости, принять по отношению к почтовикам любые репрессивные меры, вплоть до ареста.

Представителю почтовиков поручили снестись с ЦК и

известить о результатах Совет, который должен был собраться 27-го в 6 час. вечера. Но почтовики, не известив Совет, кончили работу 27-го в 10 час. утра.

28-го все они были арестованы на собрании и препровождены в Куваевскую столовую под стражу.

Ночью мы пошли вчетвером, — все члены Революционного штаба, — объяснить им серьезность положения.

Говорить пришлось, главным образом, мне.

Главной целью я поставил себе разъяснение разнородности интересов в их собственной среде. Разбил их на высших и низших, противопоставляя интересы одних интересам других, и внес таким образом дезорганизацию в пока еще единую их массу.

В горячке советских прений 27-го многие отрицали в почтовиках демократов. Это, разумеется, неверно: они в большинстве своем те же пролетарии.

Другой вопрос,—их общественная роль, степень пролетарской сознательности и активности в революционную эпоху.

Беседа, повидимому, подействовала.

Под утро они прислали в штаб резолюцию, где указывалось, что они станут на работу в 9 час. утра, если только мы к рабочему контролю позволим им прибавить их собственный контроль. На этом согласились, и они стали на работу.

Но беда в том, что Иваново отрезано, изолировано и работать отчаянно трудно.

Вечером 30-го посылаем делегацию из трех человек в ЦК их профессионального союза: одного — от почтово-телеграфных служащих и рабочих и двух — от Совета.



Полк с нами. За несколько дней до переворота мы уже ходили по ротам и подготовляли солдат.

Всех рот здесь нет налицо, только три — 11-ая, 12-ая и 14-ая. Из них вполне обучена и готова к бою одна лишь 11-ая.

27-го сместили и арестовали начальника гарнизона. Поставили нового, молодого штабс-капитана, который перед пятеркой ходит на цыпочках.

Днем устроили общий полковой митинг. Единогласно была вынесена резолюция о полном доверии и всемерной поддержке Совета.

Солдаты с нами; рабочие с нами; железнодорожники с нами. Объединились три огромные силы. Здесь на месте, ничего серьезного не предвидится, так как по первому требованию пятерки полк расстреляет толпу, идущую против Совета.

В эти последние дни близость Совета с солдатами особенно очевидна. Все время от штаба идут распоряжения в полк и распоряжения немедленно выполняются.

В полку был избран военно-революционный штаб в пять человек.

Теперь его раскассировали и власть исполнительную (по приказу пятерки) передали комиссару, который информирует обо всем начальника гарнизона.

Солдаты держатся отлично.

В городе полное спокойствие.

Чувствуется, что власть в крепких, надежных руках солдат и рабочих.

Ходят всяческие слухи, но они разбиваются действительным положением вещей.

★

Пятерка, созданная Советом, была временным исполнительным органом. Она существовала всего два дня с небольшим — 25-го и 26-го.

27-го были созваны президиумы социалистических партий

и общественных организаций (максималистов, большевиков, меньшевиков, эсеров, железнодорожного комитета, полкового комитета, городской управы, Исполнительного комитета Совета) для выборов нового исполнительного органа — штаба революционных организаций.

Меньшевики и эсеры отказались принять участие в работах нового органа. Меньшевики заявили о своем выходе из Исполнительного комитета Совета.

Заявив — те и другие ушли.

В состав штаба (семерки) вошли:

от Исполнительного комитета — Жугин, Фурманов,

от городского самоуправления — Киселев,

от железнодорожного комитета — Знойко,

от полкового комитета — Фаренкруг,

от большевиков — Шорохов,

от максималистов — Балакин.

Пятерка передала свои полномочия новому штабу в ночь на 28-ое.

Штаб является высшей властью в городе. В его полном и непосредственном распоряжении находятся все вооруженные силы.

★

Лишь только почтовики прекратили работу, — мы немедленно мобилизовали свой штат из рабочих. Это была торжественная, незабываемая и курьезная картина.

Нам необходимо было установить связь Совета по городу и с Москвой.

Звоню в центральную:

— Эй, кто там?

— Я, Синюха... А это кто спрашивает, не Дм. Андр.?

— Я... я... Поторопись-ка, 88-й номер.

— Ладно, устрою... А что у вас там, все ли в порядке, в Совете.

— Все, все, ты поторапливайся...

Слышишь в трубку, как он отойдет и начнет переговариваться с товарищем: 88-й просит... Дм. Андр. говорит... Надо будет соединить...

— Вали, втыкай вон эту...

— Какую эту... Не ее, вот эту надо... Тут неправильно...

— Вот чертополох, говорят тебе, втыкай... Ты не бойся, я знаю... Это она самая и есть...

Долго ищут они где воткнуть, куда нажать... Наконец, минут через пять звонят:

— Ты слушаешь, Дм. Андр.?

— Слушаю, слушаю! Да поскорее вы, черти... Чего вы там копаетесь...

— Эка, копаетесь — тебя бы посадить сюда... И то все время словно волчок кружусь с боку на бок...

— Ладно-ладно, поскорее, Ванька...

— Сейчас нажму, а ты звони...

Что-то зашумит, защелкает... звонишь...

— Откуда говорят?

— Центральная комната...

— Ванюха, ты?

— Я...

— Какого же чорта не соединяешь?

— Соединяю, да еще не вышло...

— Ну, поворачивайся, брат, поворачивайся...

— Ладно, постараюсь, товарищ...

Таким образом путаешься иной раз минут 10—15. Наконец, добьешься, кончишь говорить, а Ванюха только и ждал — тут же звонит из центральной:

— Что, поговорил?

— Поговорил, Ванюха, спасибо...

— Вот то-то и дело, а ты, белый чорт, все бранишься.

— Ну, прощай, прощай — мне некогда...

Таким образом идет работа...

Рабочие вынуждены хвататься за все.

Есть мысль начать учить рабочую армию почтовому, телеграфному, телефонному, а может и железнодорожному делу, чтобы в нужную минуту пустить эту армию в дело. Разумеется, в данное время нет возможности, но дело это верное.

★

В Совете шло заседание, когда арестовали почтовиков.

Необходимо было допросить их немедленно и оставить только главарей. Было уже часов 9 вечера. Заседание кончилось. Члены Совета расходились.

В штабе в это время вырабатывался план допроса почтовиков. Печатались вопросы.

Почтовиков всего до двухсот человек. Судей тут потребуется не мало.

— Товарищи, — обратился я к расходившимся членам Совета: — почтовиков мы арестовали, но большинство из них попало по недоразумению. Их надо допросить и большую часть отпустить.

— Помогите, товарищи. Дело общее, давайте вместе и разрешать. Останьтесь здесь человек пятнадцать — двадцать. Разумеется, нужны грамотные, осторожные и прочее. Я объясню вам, в чем дело.

Мигом записалось шестнадцать человек. К тому же времени вопросы были напечатаны. Я разъяснил им, как нужно вести следствие (хотя руководствовался больше здравым смыслом, а не юридическими тонкостями), как следует вести себя во время допроса. Было уже около 10 часов.

Допрос порешили снять сегодня же ночью, чтобы на утро часть выпустить.

Потом перерешили допрос отложить на утро, а беседовать с почтовиками пошли мы сами, члены штаба.

О результатах переговоров я уже писал. Допрашивать не пришлось.

Но это не важно, здесь важно другое: изумительно дружно откликнулись рабочие; заявили о готовности проработать ночь, только помочь бы чем-нибудь Совету.

Взялись за дело совершенно новое, за дело ответственное.

Верят тому, кто их ведет. На этом доверии здесь построено все.

Рабочие за октябрь получили всего по пяти фунтов муки, но молчат.

Иные давно бы взбунтовались. Здесь положение другое. Все держится авторитетом Совета.

Власть у Совета фактически была во все время революции, теперь она только оформлена и оглашена.

1 ноября 1917 г.

Вы думаете, что декрет о мире был издан для начала переговоров? Для съездов, конференций, заключения новых договоров и проч.? Совсем нет.

Вы только проследите за восемь месяцев революции повседневную работу тех, которые издали декрет, убедитесь, что центр тяжести не в переговорах, а в чем-то другом, противоположном, — в восстании народов.

В этом смысл и огромное значение совершенного акта.

Мы затаили дыхание и ждем не дождемся, когда придут из «вражьего стана» ошеломляющие вести. Мы верим глубоко и непоколебимо, что там начнутся революции, что всюду уже поднялось восстание, только не дошли к нам желанные вести. Мы притаились и ждем.

Там, за окопами, всегда начинали волноваться, лишь только побеждала наша левая.

И мигом там устанавливался порядок, суровая дисциплина, когда правая торжествовала, как это было в проклятые июньские дни, после июльского восстания, в позорные дни Московского совещания... Теперь наша взяла. Эта победа родит восстание за окопами.

Мы с трепетом, в глубоком молчании ждем этого священного взрыва негодования.

Как гром прокатится по миру повстанческая волна. Это будет пора отчаянной борьбы двух злейших врагов. Новая жизнь идет лишь по трупам борцов, плывет лишь по морям братской страдальческой крови. Пусть так.

Мы верим; мы верим, что все это уже началось, что гремят громы и всюду поднялся в гневе уставший народ. Мы ждем.

★

«На 24 часа заключено перемирие между социалистическими партиями, чтобы положить конец братоубийственной бойне и столковаться о создании социалистических министерств — от большевиков до народных социалистов включительно».

Это же позор! Какое тут может быть перемирие, и что тут за «братоубийственная» бойня? Кто кому брат? Тут сошлись враги — злейшие, непримиримые враги, и они должны кончить вражду свою борьбой. Один должен погибнуть, вместе жить невозможно.

Что вы понимаете под братом?.. Русского?.. Брата по нации? У нас нет такого братства. У нас есть только братство по нужде. Так и скажите прямо, что вы боитесь гражданской войны, что этим «перемирием» вы хотите достигнуть мира в стране во что бы то ни стало. Если вам хочется только тишины, — тогда, разумеется, вы правы, но если вам дорога̀ народная победа, — не бойтесь гражданской войны, она неизбежна, без гражданской войны мы никогда не сломим упорного, внутреннего врага, — она неизбежна.

Нечего закрывать глаза на подлинную стоимость всевозможных оборонцев. Нам не по пути с ними, и тут о соглашении не может быть и речи.

Все средства допустимы, если вы честный, бескорыстный революционер и работаете единственно для трудовой массы.

Пусть еще прольются целые потоки крови, — она очищает, искупительная кровь.

Ведь, в сущности, безразлично, сколько человек погибнет: один или сто. Каждый страдает лишь сам по себе; увеличение или уменьшение страданий у других ничуть не изменяет суммы его страдания. Вместо одного будет сотня страдающих. Это неизбежно, т. е. массовое страдание при массовой борьбе. Это и лучше, так как сознание солидарности утишает человеческую боль.

Нет, нет, к чорту ваши мирные переговоры! Борьба должна быть беспощадной и вожди обязаны до конца стоять на крепких позициях. Если мы победим, — мы не пустим буржуазию в Учредительное собрание. Что ей там делать, что отстаивать?...

Фабрики и заводы перейдут в ведение общин, и фабрикант может поступать на работу как всякий рабочий. Какие классовые интересы отстаивать пойдет он в Учредительное собрание? Мы не должны допускать туда буржуазию. Ведь хуже, чем рабочему, не придется жить ни одному фабриканту, ни одному помещику.

А за критерий мы и должны брать рядового работника. Если считаться с доводами буржуазии, — тут никакие учредительные собрания ничего не создадут. Каждому и в каждом отдельном месте хорошо известно, по какому списку проходит буржуазия. Этот список надо аннулировать.

Как-будто мы нарушаем этим самым четвертую формулу выборов. Выборы будут не всеобщие. Да, не всеобщие. Но это

в интересах трудового народа, и мы имеем нравственное право отбросить буржуазию.

Буржуазии там делать нечего. Для нас не существует ее особых интересов.

9 ноября 1917 г.

Приветствуя победу большевиков, мы приветствуем не отдельную партию, а трудовой народ, который, не разбираясь в тонкостях программы, идет за теми, которые смелы и решительны, у которых имеется одна определенная цель, — достижение максимума завоеваний в данный революционный момент.

С точки зрения устремления трудового народа к достижению максимума мы близки к большевикам и не считаем нужным и возможным в такие решительные моменты отвлекать внимание масс на нашу программную рознь, тем самым распыляя и раздробляя народную силу.

Наша задача сводится к объединению и уплотнению поднявшейся массы, движимой единственно нуждой и имеющей полную общность интересов.

Вот почему мы, максималисты, и приветствуем победу, победу трудового народа, совершонную самим же народом, при помощи смелых и решительных большевистских вождей.

В большевистских рядах сомкнулась самая бедная, нуждающаяся часть трудового народа.

Мы работаем для трудовой бедноты. Поэтому любую партию, защищающую трудовой народ, мы будем приветствовать и поддерживать всемерно.

Теперь не время спорить о программных пунктах.

Революции не повторяются ежегодно, тем более такие революции, как наша, когда условия сочетались всецело в пользу трудового народа.

В подобные моменты необходимо применить все имеющиеся средства для окончательной победы.

Данный момент именно таков, что народ закрепил за собою власть в стране.

Борьбу теперь следует направить по пути устранения всяких возможностей возврата к старому, хотя бы и подновленному в европейском стиле.

В борьбе за народ, за его лучшую долю, возможны и допустимы все средства борьбы с исконными и случайными врагами.

Теперь не время миндальничать и растабарывать о законности и беззаконности средств.

Пока трудовой народ сам не написал себе законов, — для нас закона нет.

Освобождение и счастье народа настолько огромная, бескорыстно-чистая и святая цель, что она оправдает все средства, которые были применены для ее осуществления.

История и мораль оправдают все меры, которые мы применяем теперь, в героическую эпоху самоотвержения и страстной преданности делу освобождения угнетенного народа.

Когда дикие турки расколачивали о камни болгарских детей, насиловали женщин и сажали на острые колья невинных мучеников, мы благословляли своих добровольцев на самую жестокую и беспощадную борьбу с мучителями.

Тогда не задумывались над средствами, не толковали о законности и беззаконности, ибо ясна была для всех несомненная мысль о неизбежности жестокой расправы с насильниками.

Почему же теперь, когда мы боремся за свой угнетенный народ, недопустимы те меры, что допустимы были в борьбе за страдальцев-болгар.

Сущность дела одинакова и меры борьбы должны быть также одинаковы.

Чтобы легче было властвовать над угнетенным болгарским народом, турки применяли хитрое и верное средство: они владение над целыми округами передавали в руки знатных болгар, развращали их окончательно привилегированностью и чрезмерной властью и, таким образом, под видом самоуправления преподносили несчастному болгарскому народу самую тонкую и самую мучительную форму истязания и порабощения.

Эти знатные болгарские роды, вольно и невольно попавшие в цепкие руки турецких властей, становились злейшими врагами своих угнетенных собратьев.

Эти знатные болгарские магнаты, привлеченные подкупами, угрозами и привилегиями в турецкий стан, отрывались от родного народа и становились в ряды его злейших, открытых врагов.

Поэтому борьба против турецкого ига была всегда для болгар и борьбою против своих сородичей-угнетателей.

Не бросается ли вам в глаза полная аналогия наших дней с эпохою борьбы болгарского народа за свое освобождение?

★

У нас имеется открытый враг, стоящий на другом берегу, — буржуазия. И имеются у этого врага свои приспешники, помощники и защитники с печатью народных друзей на челе.

Они не подкуплены, но идут вместе с теми, которые сильны подкупом; они не запуганы, но идут вместе с теми, которые жили насильем целые века; они не бьются за привилегии, но поддерживают тех, что всегда сверху вниз смотрели на трудовой народ.

Я говорю о «кротких» социалистах, о тех, что, вместо солнца, стали молиться на луну — тусклую, бледную луну.

С ними у нас не может быть ни единых целей, ни общего дела. Социализм прикрывает их, как икона. Многомесячная борьба воочию показала, что он для них — не цель ближайших конкретных достижений, а маяк, затонувший в беспросветной мгле бесконечного будущего. Система борьбы у них настолько двусмысленная, что оправдывает блок с врагами народа, — кадетами, — как это случалось неоднократно.

Они открыто предадут нас, а вместе с нами и трудовой народ. В лучшем случае они будут тормозить ход работы и подрывать народное доверие к своим могучим организациям.

Мы решительно отвергаем даже самую мысль какого бы то ни было общения с ними.

Они, революционеры на словах, смертельно перепугались, когда пришлось быть революционерами в живом деле. Испугались гражданской войны, репрессий, перепугались террора.

Гражданская война — не братоубийственная бойня, ибо сходятся на бой здесь не братья, а вековечные, непримиримые враги. Надо быть слишком доверчивым и наивным, чтобы успокоиться на затишьи в стане буржуазии.

Она слишком умна и осторожна, она слишком дальнозорка в оценке момента и на рожон никогда не полезет.

Медленно и верно собирает и сплачивает она свои силы, чтобы, если и пришлось уже выступить, то выступить во всеоружии.

До сих пор она верила, что революция буржуазная, что пройдут эти клокочущие дни и месяцы, и народ — усталый и бессильный — сам предложит ей, буржуазии, полноту управления государственным кораблем.

Но вот в октябрьские дни, симптомы социальной революции объявились во всей сокрушающей силе. Дальше у буржуазии не могло оставаться сомнений.

Она поняла, что поставлена окончательная ставка, что

решается кардинальный вопрос революции: быть или не быть.

Раз так, — надо принимать открытый бой с открытым врагом. И буржуазия выдвинула те силы, что сумела и успела собрать под свое крыло за восемь революционных месяцев.

А сама, разумеется, спряталась в кусты. Она труслива и подла, как всегда. Она вечно прячется за чужой спиной. Оглянитесь, — где буржуазия. Она в паническом страхе рассыпалась по градам и весям, бросив на произвол и семьи, и фабрики, заводы и земли. Она разбежалась.

А приспешники, подкупленные или обманутые, выступили с оружием в руках защищать свою покровительницу — буржуазию.

Кто же был в рядах ее защитников? Да все старые наши знакомые, — друзья и защитники Корнилова, открытые враги трудового народа.

Во-первых, юнкера, это бесформенное тесто, замешанное на фальшивой чести и фальшивом понимании долга.

Во-вторых, «ударные» и «женские батальоны» — чудовищное и нелепое порождение войны, обусловленное, с одной стороны, жандармским патриотизмом, с другой, — несознательностью и неразвитостью вошедших в батальон членов.

Третьей силой были казаки-помещики, казаки — отцы нагайки, но не те, что с первых дней революции слились с народом.

Надо думать, что были гренадеры, была кавалерия, была и дикая дивизия. Во всяком случае, они были на-готове. О них молчали и не писали, но это, разумеется, совсем не значит, что после корниловских дней они из ярых врагов трудового народа перекрестились в его пламенных друзей.

Была схватка — жаркая, многодневная, кровопролитная. Народ боролся с вечным, заклятым врагом.

И народ победил.

Было много случайных, невинных жертв; много обманутых

стояло в рядах народных врагов, когда им нужно было бы итти вместе с народом; много было напрасной, взаимной жестокости, — все было. Но такие перевороты не могут совершаться мирно. Здесь неизбежны и невинные жертвы и друзья, случайно попавшие в стан врагов и бесславно погибшие на позорном посту. О них можно сожалеть, об этих невинных жертвах, но останавливаться перед ними невозможно. Если бы революция останавливалась перед жертвами, она никогда не была бы победоносной. В такие моменты, помимо личной отваги и самоотвержения, особенно ценной является способность холодного взвешивания фактов; способность открыто и смело ставить вопрос: что перевесит: сумма жертв или грядущее народное благо.

И смешными, поэтому, кажутся проклятья и стоны фельетонистов закрытых газет (кстати сказать, получавших от буржуазии колоссальные деньги), стоны о том, что социалисты нарушают один из основных пунктов собственной программы: свободу печати.

Да разве мыслимо было в этот критический, переходный момент выпустить на волю всю эту массу подлости, хитрости и безоглядочной клеветы на трудовой народ. Холодно взвесив факты, необходимо было потянуть за ту чашку весов, где трудовой народ. Это в его интересах совершены псевдорепрессии, это не личные хотения отдельных личностей или групп. Интересы народа требовали именно этого срочного, решительного шага.

Когда идет борьба за освобождение всего трудового народа, — не может быть речи о сохранении интересов какой-то ничтожной кучки народных врагов. Они должны быть не только пришиблены, но и раздавлены окончательно, как гнездо трусливых и кровожадных тарантулов.

Логически неизбежен и необходим террор. Народные враги, пораженные в открытом бою, поведут медленную и вер-

ную борьбу исподтишка, втихомолку подтачивая народную силу и народное достояние или подымаясь временами открыто против уже достигнутых народных завоеваний.

Чтобы сократить количество народных бедствий, необходим террор для народных врагов. Живое слово убеждения может достигнуть результатов лишь в среде обманутых или запуганных, приставших случайно к полчищам народных врагов. Но сами враги над этим словом убеждения могут в лучшем случае поглумиться, как над смешной и нелепой затеей. Здесь слова не помогут. Нужны действия, короткие и верные действия. Буржуазия подла и труслива. Она боится суровых кар и живо сдаст укрепленные позиции. Она не привыкла кровью, тюрьмой и страданиями отстаивать свое дело. Ей все давалось даром. Поэтому террор, как мера устрашения и принуждения, в этой трусливой среде всегда достигает желанных результатов.

Достаточно было какому-то видному чиновнику посидеть два дня в питерском клоповнике, чтобы на третий он согласился стать на работу и поставить с собою весь департамент.

Наша революция — социальная революция. И, как всякому глубокому перевороту, этой революции присущи все методы и формы достижения ближайших, конкретных целей.

Если мы в такой великий, решающий момент остановимся перед мерами достижения, мы рискуем из-за деревьев не увидеть леса, споткнуться о какой-нибудь проклятый, проржавевший пень и сломать себе здоровые ноги.

13 ноября 1917 г.

Штабу приходится нести на своих плечах неимоверную работу. Я уже не говорю о времени — мы целые дни в Совете, едва только успеваем сбегать отобедать.

Целые дни, а посменно и ночи, ни единой минуты штаб не остается без дежурного.

Количество рабочего времени еще можно было бы принять, если бы только работа соответствовала наличным силам.

Но приходится нести ведь совершенно непомерную тягу. Я не знаю, какой только вопрос не касается теперь штаба. Нам приходится быть универсальными, ибо нет специалистов, по которым можно было бы распределить различные отрасли выполняемой нами работы.

Укрепление наших завоеваний, борьба с темными силами, успокоение рабочих масс, борьба со спекуляцией, продовольственный и мануфактурный вопросы, организация красной гвардии, реорганизация милиции и уголовно-розыскного отделения, борьба с хищнической порубкой леса; всемерная поддержка все еще продолжающейся стачки; поддержание контактной работы общественных организаций; снабжение рабочих оружием; выработка подготовительных мер и плана захвата рабочими фабрик; борьба с саботажем почтово-телеграфных служащих; заботы о пополнении банковских касс; регулирование внутренней жизни в городе. . .

Да ведь их безмерное количество, — отраслей нашей работы. А вести работу, в сущности, приходится лишь троим-четверым.

Остальные сидят только для виду, ни советом, ни делом работу не облегчают.

Одни добросовестно молчат, потому что решительно ничего не понимают во всей этой сложной и трудной работе; другие трещат без толку и охотно пускаются в росказни о личных впечатлениях и случаях текущего дня.

Трудно. Непосильно трудно. И как же тут не ошибаться, когда вчерашнему молотобойцу или ткачу сегодня при-

ходится быть юристом, судьей, законодателем и всем чем хотите.

Вполне естественно, что порою мы окончательно становимся в тупик, но, став в тупик, никогда беспомощно не опускаем рук. Нет, мы откладываем невозможное на произвол судьбы и беремся за то, что по силам и по уму.

Мы крепко держимся на завоеванных позициях. Мы не сдаем ни пяди, только вот строить новые укрепления не всегда удается, ибо строить совершенно некому.

Один товарищ (Скорошов) чистосердечно признался:

— Если бы, — говорит, — подыскался кто-нибудь сменить меня, я ушел бы с великой радостью.

— Вы совсем хотите устраниться от работы? — спрашиваю его.

— Нет, зачем устраняться. Я только хотел бы встать чином ниже, ибо чувствую, что работа мне не по силам, что не гожусь еще я, не дозрел до такой большой, ответственной работы. Мне бы что-нибудь попроще, где мог бы я проявить свою действительную силу рядового и добросовестного работника. . .

И это говорил один из самых упорных и добросовестных работников.

Он не любит пустых слов, говорит мало, но сильно. Он много пострадал, много скитался по белому свету, повидал не мало горя и нужды и теперь, на склоне жизни, пришел сюда, в огненное горнило, где похоронена была невеселая юность, пришел служить брату-рабочему, помогать в отчаянной и трудной борьбе.

13 ноября 1917 г.

Фактически он уже умер, — «штаб революционных организаций». Он выполнил свою боевую роль в первые дни Октябрьской революции и притих.

Теперь, когда нужна не только борьба с врагами, не только первоначальное утверждение завоеванных позиций, когда нужна работа планомерная, созидательная по существу, не катастрофическая по форме, — теперь вполне естественно видеть, что функции штаба мало-по-малу переходят к Исполнительному комитету. На завтра поставлен вопрос о распределении функций между этими двумя органами, а, может быть, и об окончательной ликвидации штаба. Горячка первых дней прошла.

Разумеется, это совсем не значит, что вообще миновала опасность, что теперь можно почить на лаврах.

Ликвидация штаба отнюдь не призыв к полному успокоению. Но уже миновала пора, когда необходимо было всю силу власти сосредоточить в руках крошечного коллектива — подвижного, решительного, немноголюдного.

Надо утверждать и выше подымать авторитет Совета.

Штаб — это пустой звук.

Минует острый период и с ним умрет штаб. А Совет останется жить. Он по-старому будет сердцем рабочей массы.

И его авторитет надо подымать как можно выше.

Мы уже снова подобны осенним мухам. Понемногу все еще трепыхаемся, ищем живого, большого дела, а его уж нет. То есть нет чего-либо выходящего из ряда вон.

Работы много, но работы планомерной, будничной, неяркой.

Мы ищем по привычке чего-то выдающегося, а выдающегося нет. И чем скорее, тем лучше надо слить воедино штаб и Исполнительный комитет Совета.

28 ноября 1917 г.

События последнего месяца здорово отвлекли нас от комитетских дел нашей группы максималистов. Недавно начали

изучать политическую экономию. Две беседы уже состоялись. Только заняты все ребята, и половина не берется совершенно за книгу.

У некоторых, анархистов, уже окончательно пропал интерес к организационной работе. Они спустя рукава посещают наши собрания и вообще являются балластом, который отягощает понапрасну.

Постановлено было окончательно уйти из городского самоуправления. Здесь в кратких чертах трудно обрисовать все многообразие соображений, толкнувших нас на подобный шаг. На второй конференции вопрос о работе в муниципалитетах и земствах, как известно, остался открытым. На одном из предыдущих заседаний мы десятью голосами при одном воздержавшемся принципиально признали желательной работу в самоуправлении. Но фактически дело обстояло таким образом, что часть гласных анархистов абсолютно не посещала думских собраний, другая ходила из пятого в десятое, и в результате наши только на бумаге числились гласными, «протирали стулья», как выразился один товарищ, да и то слишком редко. Словом, вставал вопрос о переизбрании. Но переизбирать мы не можем, так как избирала не наша группа. Решили отказаться и известить об этом комитет эсеров и самоуправление.

Поднят был также вопрос о вооружении. Но денег на оружие в комитете нет, а достать бесплатно не представляется возможным.

Постановили обратиться в красную гвардию, заявив, что мы в нужную минуту придем на помощь своей особой, боевой дружиной. Приходится думать одновременно и о гриме, о паспорте, о костюме, о деньгах. Дело может всяко повернуться, а жизнь понапрасну не стоит отдавать. Необходимо приготовиться заблаговременно ко всем защитительным мерам, необходимо разучить и азбуку подпольной работы.

В сегодняшней газете говорится про меня. И рассказываются такие вещи, про которые знают всего двое-трое знакомых. Я думаю, что писал Майоров, а материал ему дал Авенир, так как с Авениром у нас была беседа и про Кавказ и про стихи. Одно стихотворение даже помещено было им в «Зеленом Шуме». Словом тут повинен Авенир.

За это, если бы узнать окончательно, я возненавидел бы его как старого предателя.

То, что передано в интимной беседе, несколько неудобно из-за партийных разногласий отдавать в газету. . .

Но почему меня не взяло зло от самого фельетона? Почему он не уязвил меня, хотя и был написан исключительно с этой целью? Да потому, что все сказанное в нем — правда. Только правда эта представлена в смешном свете, рассчитана на хохот читающего, на полное изничтожение самого героя.

Но что останется от этого фельетона, если я сам отвечу искренно на все поставленные здесь вопросы? Ведь я лукавить не буду, я откровенно расскажу правду о себе.

1) Упоминается про «томик стихов», — абсолютно ничего дурного здесь не вижу. Кому дорога поэзия, тот сотни и сотни раз открывал эти томы и томики; вздыхал, грустил, страдал и радовался вместе с ними, вместе с ними и засыпал. . .

2) «Одинаково служивший прежде пролетариям и буржуям, Морфей теперь явно саботировал».

Только почему Морфей? Ведь Морфей — бог сна. Как же он мог вообще кому-либо служить? Может быть, автор хотел сказал Муза или Орфей? Словом, хотел назвать кого-либо из причастных к поэзии богов? Это еще можно было бы понять: дескать, прежде писал совершенно нейтральные стихотворения, а теперь и они не удаются, — Муза, мол, саботирует. Ну, это все-таки второстепенное.

А вот относительно буржуев и пролетариев следует поговорить. Да, прежде мы жили как птицы небесные и до революции не знали даже, какие там существуют партии и какая там имеется классовая борьба. Мы решительно ничего не знали — мы, что стоим теперь у кормила правления. А что же с остальными, которые и до сих пор не прикоснулись к живой жизни? Они ведь и теперь не знают ничего, потому и смотрят на борьбу с мещанской точки зрения. У меня есть товарищ, он выставлен теперь кандидатом в Учредительное собрание, выставлен на пятом месте по списку меньшевиков и, может быть, пройдет. Ведь тогда уж соберется самый цвет революции, туда придут не только борцы, но и созидатели. Там нужны большие познания, нужен большой многосторонний опыт. А он, мой товарищ, до революции сам не знал ни партии ни извечной борьбы. Но я радуюсь, что он теперь вознесен на гребень революционной борьбы, потому что ни на секунду не сомневаюсь в его высокой честности, в бескорыстной преданности народному делу. Пусть он иначе понимает эту великую борьбу; пусть ищет иные пути, но мы думаем с ним об одном, за одно боремся и, может быть, будем страдать. Я уважаю и чту его как честного, бескорыстного труженика на пользу народа.

Но ведь прежде он тоже служил одинаково пролетариям и буржуям. У него есть дядя миллионер, и у этого дяди он занимался с детьми, обедал, чаевничал, словом был свой человек. Теперь, если бы все повернулось по-старому, — я уверен, что он не пошел бы к дяде миллионщику. А ходил потому, что решительно не понимал ничего в политической борьбе. Так чем же были мы все виноваты, что не попали работать в подполье?

Многие из нас даже и не слыхали об этой неумирающей, подземной, святой работе. Ясно, что мы не прикоснулись к ней только по незнанию, а не по каким-либо иным причи-

нам. Напр., скажу откровенно о себе: не мог бы я с таким горячим темпераментом удержаться в какой-нибудь умеренной группе.

Я оставил бы все, — работу, университет, как оставил их теперь, если б только представлял себе ясно всю великость и значительность борьбы. Я же ничего не знал, потому что узнать было неоткуда.

Если рабочий никогда не услышит и не узнает правду о движении небесных светил, разве вы будете винить его за это? Не вините и меня, нам неоткуда было узнавать...

И правильно говорит мой зложелатель, что Муза (Морфей) моя одинаково служила буржуям и пролетариям. Я даже не представлял себе ясно эти два класса и раскалывал людей на два лагеря по совершенно иной линии: хороший человек был хорош для меня безотносительно к классу, безотносительно к своему происхождению.

У меня не было заклятых врагов, с которыми борьба неизбежна. Я слишком верил в честное убедительное слово и думал, что словом можно повернуть весь мир.

Если в этом находите мою вину — судите. Только знайте, что таких нас было девяносто девять на сотню.

Отдельные счастливцы-мученики и тогда работали в подпольи, — слава им старым работникам, но когда-нибудь и они ведь были молодыми, когда-нибудь и они делали первый шаг по пути страданья за народ. Так неужели тогда глумились над первыми, неуверенными их шагами? Нет, тогда силы ценились дороже, и я думаю, что поседелые в работе с восторгом смотрели тогда на юных помощников, радовались их приходу, жали им по-товарищески крепкие, молодые руки.

Мы этого мучительного счастья не узнали. Мы не видели подполья и в нем не работали.

Но не глумитесь же теперь над нашим пробуждением.

Мы еще слишком юны и, может быть, сумеем доказать свою преданность угнетенному народу. Мы теперь ненавидим желтую прессу и боремся с писаками «Русского Слова». Мы даже прекратили у себя в городе продажу этих газет.

И я понимаю, что вы очень ко времени, мой недоброжелатель, упомянули о сотрудничестве моем в «Русском Слове».

Но знаете ли вы, что это было за сотрудничество? Я там всего на всего поместил один крошечный очерк: «Братское кладбище на Стыри».

Вещь совершенно безобидная, очерк художественный и каких-либо симпатий или антипатий политических совершенно не отражает.

Да ведь художественные вещи в «Русском Слове» помещал и Максим Горький. Куда же было деваться в ту пору? А Максима Горького разве мыслимо причислить к сонму буржуазных писак? Так что чего-либо «разоблачающего» я здесь совершенно не вижу.

3) «Мечты о литературной славе. . .».

Да, были они, мечты о литературной славе. Да и теперь они лишь потому притихли, что некогда мечтать.

Захватила и унесла меня революционная волна. Разве тут есть что-нибудь смешное, когда даже самый маленький поэт думает прогреметь на весь мир? Если хотите — это неизбежно присуще каждому мечтателю, особенно поэту.

«Каждый солдат должен верить, что рано или поздно он будет генералом».

Так что и в этих мечтах ничего для себя обидного не нахожу.

4) «Пленительный Кавказ, стихи, любовь. . .».

Об этом я часто мечтаю и люблю подолгу останавливаться мыслью на дорогих воспоминаниях. Для вас, г. злюка,

это ведь пустые слова, ничего не говорящие ни уму, ни сердцу; а для меня здесь целая эпоха жизни с богатейшим содержанием, полная чудных, поистине пленительных картин.

Того богатства переживаний, что было у меня на Кавказе, никак нельзя назвать фактом отрицательным. Я про Кавказ вспоминаю с любовью, с трепетом духовным, с сердечным замиранием. И не вам говорить о Кавказе... Сначала полюбуйтесь на него, а потом богохульствуйте.

Там расцвела любовь... Но какое вам дело до моей личной жизни? Мы теперь судим друг друга по степени ценности в работе общественной. А какое же имеет отношение к общественной работе моя любовь? Странный, мелочный и недалекий, повидимому, вы человечишко. Не люблю я таких комаров: подкрадутся, подлетят втихомолку и крошечным жалом начинают понемногу высасывать горячую кровь... Все это за спиной, негласно, а на людях и руку тебе подают и разговор заводят по-приятельски. Скверно, нечестно, подло-трусливо.

5) «Почувствовал, что он чистокровный эсер».

А как же иначе, спрошу я вас? Как же вообще вступают в партию? Да вспомните, как вы некогда вступили в эсеровскую партию. Вы думали, взвешивали, узнавали, расспрашивали... А когда в общих чертах разобрались, — тогда только, разумеется, и вступили в партию?.. Так именно было и со мной, да так должно быть и со всеми. «Страна левела». Да, страна левела, только вы вот до сих пор являетесь каким-то анахронизмом. Ну что значит теперь оборонец? Теперь, когда почти объявлено всюду перемирие. Вы какое-то недоразумение, и это уж ваша собственная вина, что «страна левела», а вы правели, что вы не поняли знамения времени. Вначале, только что записавшись в партию, я не мог еще предвидеть, какой она будет держаться тактики в эту рево-

люцию... У меня перед глазами стояли образцы Сазонова, Балмашева, Марии Спиридоновой и многих, многих страдальцев-революционеров.

Позже, в революционной работе, я увидел, что с правыми оборонцами итти нога в ногу абсолютно немыслимо. А близость к максималистам заставила нас целой группой уйти из местного эсеровского комитета.

Между прочим, скажу, что на второй конференции максималистов было зарегистрировано довольно много подобных случаев, когда максималисты выделялись из эсеровской группы в самостоятельную.

И вообще скажу о переломе сознания, что с психологической точки зрения это вещь почти необъяснимая, катастрофическая, стихийная. Предпосылки, разумеется, должны быть в наличии, но самый момент перелома — непостижим.

Помню, как сам я внезапно, совершенно неожиданно для себя ощутил и осознал в себе в единое мгновение интернациональное устремление, которое вот уже целые месяцы руководит всей моей работой.

6) Небезынтересен вопрос и относительно моей работы в Совете.

Если хотите, я попал туда наполовину случайно, но только наполовину. Я думал вообще работать при Совете, но работать лишь в области культурно-просветительной. Иной работы я еще не представлял себе вначале. Но вся советская работа спаяна в единое целое и, делая одно, — никак не обойдешь другого. Так случилось и со мной.

Культурно-просветительная работа втянула меня в работу обще-политическую, и в этой работе мне захватило дыхание. Вы спрашиваете, что у меня общего с рабочими?

Революционное сознание, отвечу я. Бескорыстная борьба за благо трудового народа никогда не может считаться недостойной, как бы ошибочна она ни была. Можно указы-

вать, можно поправлять, но глумиться над тем, что я иду с рабочими, по крайней мере, глуповато. Здесь проскальзывает зависть и больше ничего. Оборонцам рабочие затыкают глотку и прогоняют с собрания.

Вот вам и отгадка злому выпаду. Много товарищей-студентов шляется попусту, совершенно без дела, и никто из них не идет в ряды трудового народа. Мы бедны силами — это хорошо знаем и сами. Но у нас много смелости и революционной решительности. Одним этим не победишь, но и без этого не победишь.

А интеллигенты прибывают, хоть медленно, но прибывают. И характерно то, что, познав советскую работу, прикоснувшись к ней вплотную, человек словно перерождается и уходит к левому крылу. Туда его толкает сама жизнь, если только не держат в тисках иные партийные цепи. Вот и все ваши «улики» против меня. Я ответил чистосердечно, искренно, за что же теперь вы будете обвинять меня? В сущности ни одно обвинение не устояло, потому что это были даже и не обвинения, а извращение и содомное глумление... Этим нас не обидишь. Это́ уж не первое нападение. Но я молчу и своим презрением и брезгливым невниманием, надо думать, заставлю примолкнуть и вас.

Когда ребятишки начинают дразнить, — самое лучшее не обращать на них никакого внимания. Они угомонятся, ибо протест только разжигает их понапрасну. Именно таким же образом думаю я поступить и с вами, седые и тучные младенцы.

ПОСЛЕ ПОБЕДЫ

29 ноября 1917 г.

Тому, кто не работает в Совете в наши великие дни строительства и коренной ломки, не понять никогда всей трагичности нашего положения. Декреты, действительно, пекутся, как блины; они, действительно, не проводятся в жизнь и остаются только бумажками. Но вы разберитесь, почему они не осуществляются, почему остаются бумажками.

За ними остается огромное тактическое значение как импульсов в революционной работе; за ними сочувствие многомиллионных масс бедноты; за ними сила. Но сила количественная, а при проведении декретов в жизнь нужна сила качественная. Ее нет: она не с нами. И в этом наша трагедия. Кто будет осуществлять на месте рабочий контроль? Кто будет производить всевозможные учеты, отчеты и прочую радость?

— Мы все почти бесграмотные, — сказал мне вчера один из лучших работников Исполнительного комитета: — из двадцати пяти членов Исполнительного комитета у нас только один интеллигентный работник, недоучившийся студент тов. Фурманов.

Совет теперь является высшею властью на месте. И неизбежно его работа возросла во много раз. С фронта мас-

сами возвращаются солдаты-рабочие и требуют, чтобы их приняли на старые должности, а места нет.

Станки, правда, пустуют, но не хватает сырья, нет топлива.

Ну, предположим, что через восемь-десять дней созовется областная конференция фабрично-заводских комитетов и Советов, но что же теперь-то нам делать? А солдаты ведь приходят каждый день и чем дальше, тем больше.

Фабриканты отказываются выдавать рабочим авансы, хотя фабрики и начали работу. Они утверждают, что денег у них нет и достать пока негде, так как государственный банк временно приостановил выдачу. Что же остается делать? Постановили из имеющегося запаса мануфактуры продать на 250 — 300 тыс. руб. и расплатиться с рабочими.

Из различных мануфактурных и продовольственных управ — волостных, уездных и губернских, из войсковых частей, со штемпелями комитетов, союзов и Советов являются к нам посланники за мануфактурой. А у нас постановлено никому ничего не выдавать. Происходят недоразумения. Эти недоразумения неизбежны по существу дела, но они усугубляются стократ неумением объясниться и растолковать. Вынесет Совет какое-нибудь постановление, а в жизнь проводить его некому. Так и чахнет оно, не распутившись.

А сколько дела, сколько дела! Только за голову хватаешься да так и застываешь. Мы все страшно изнервничались, смертельно устали и скоро, быть может, возненавидим друг друга. Сегодня, когда все наше бессилие встало воочию, когда ясно стало всем, что без сторонней помощи при любом максимальном напряжении мы сделать многого все-таки не сумеем, — не хватило у меня терпения, — ушел с собрания, заперся в отдельную комнату и заплакал.

Слишком стало горько, что подлецы-интеллигенты, от которых зависит теперь скорая и окончательная победа или

долгая отчаянная борьба, не идут помогать нам, измотавшимся в лоск.

За недостатком времени мы уже не можем теперь так же часто беседовать с рабочими, как беседовали прежде. Нам абсолютно некогда, а рабочим кажется, что их как будто забывают. Одних это беспокоит, а другим на руку, — они, пользуясь нашим отсутствием, начинают подбивать массу на решения, несходные с советскими. Получается ералаш и ералаш опасный, ибо последствия могут быть самые неожиданные и самые печальные.

30 ноября 1917 г.

Мы, члены Исполнительного комитета, до вчерашнего дня получали 150 руб. в месяц. Вчера на советском собрании жалованье увеличили вдвое. За каторжную нашу работу, кажется, не стыдно было бы взять и 500 руб., а все-таки мы сами постановили ограничиться 250 руб. Платы, разумеется, не хватает, и все мы запутались в долгах, проводя целые дни в Совете и не имея стороннего заработка. Такой каторжной работы мне еще никогда не приходилось выносить на своих плечах.

Наше горе, однако, не в том, что много работы, что устаем, — не в этом беда. Беда вот в чем: те, которых мы защищаем, за кого боремся с опасностью для жизни, — зачастую не понимают нас. Нам приходится их убеждать, что работаем мы для них, а не для себя, что рабочие организации необходимы, что без организации они сами погибнут. Вот примерная речь обороняющегося оратора:

— Товарищи. Ну, что вы делаете, что вы говорите? Подумайте только, что вы говорите и в какую бездну толкаете сами себя. Вы голодны, вы устали, измучились, а мы, — мы, идущие впереди вас, что же, — мы сытые, что ли? Мы получили за октябрь те же 5 — 6 фунтов, что получили и вы. До

сих пор мы изумлялись вашему долготерпению, вашей организованности... Мы также исстрадались и устали, но от работы все-таки не уходим, мы до конца решили остаться на своих мучительных постах. Как вы сами-то думаете, что нас держит на этих постах?

Ведь мы кипим словно в адском котле. Так не лучше ли было бы нам бросить эту работу и уйти на другое дело? Заработка, что ли, я, например, не найду? Наоборот, я служу бескорыстно, я на стороне могу заработать в два-три раза больше, чем зарабатываю здесь. Да и кто меня удержит? Скажу вот завтра, что не хочу работать — и баста. И долой из этого котла. Больше буду зарабатывать и жить буду совершенно спокойно. А я все-таки не иду и не уйду, пока вы сами не отзовете меня из Совета. Так поймите же, что работа наша совершенно бескорыстна, она направлена единственно и исключительно на вашу пользу. Ну, если мы нехороши, — отзовите; выберете других, идите сами — с богом, мы уступим вам свои посты, — только оставьте свои рабочие организации, не уничтожайте их... Вот, в чем вся надежда наша на победу. Состав и в комитете и в Совете может быть неудачным.

Против этого мы не говорим. Переизберите, пошлите туда более надежных, пошлите хороших работников, но сами-то организацию храните.

Храните, товарищи, или знайте, что рабочее движение обречено на гибель, как только прикроются ваши организации. Знайте, что темные силы не дремлют, это они подбивают вас на такое страшное дело, это — ваши убежденные враги и подкупленные негодяи, — вот, кто кричит о необходимости разогнать рабочие организции. Доверяйте Совету. Он на страже ваших интересов. А из комитетов, словно из гнезда, слетаются в Совет ваши же посланники; там они заявляют о ваших нуждах. Многое нам, товарищи, не удается;

многое не по силам тяжело, не по уму сложно; во многом мы ошибаемся. Что же, судите, — от этого мы и сами не отказываемся. Судите и указывайте как надо делать, — за это поблагодарим. Но не вините, потому что нас винить не за что. Мы работаем для вас и эту мысль необходимо, наконец, усвоить, а усвоив, запомнить, что ошибающемуся товарищу нужна братская помощь, дружеский совет, а не брань, не крики обвинения, не угрозы. Угрозами делу не поможешь. Да и не запугаешь нас, — слишком много этих угроз слышим мы каждый день и со всех сторон.

Подумайте над этим и помогайте нам по-товарищески, иначе работать в одиночку становится непосильным.

Вот примерная речь.

Уйму приходится тратить времени на уговоры своих же товарищей, на уверения, что мы им друзья, а не воры какие-нибудь, что работаем в их пользу и т. д. и т. д.

Времени понапрасну пропадает больше половины. А время теперь так дорого.

Вот привалила толпа с биржи труда: давай работы! А где мы ее возьмем? Куда мы денем эти две с половиной тысячи числящихся за биржей? Производство ведь не раздвинуто, оно даже не переходит на мирный порядок, оно все еще в том же хаотическом состоянии, что и прежде. Что делать? Надо организовать общественные работы. Но ведь это легко сказать. А где вы денег, например, возьмете?

В банке ресурсы снова подходят к концу, у города денег нет.

В банке хотя и поставлен наш комиссар, но этим еще дело не оканчивается, — деньги взять не штука, да будут ли они поступать-то сюда регулярно. Вот запятая-то в чем.

Рабочим выдают грошевые авансы, да и то не на всех фабриках.

Стачка кончилась, на работу стали, но о минимуме ведь

до сих пор ничего неизвестно. Согласительная комиссия мнется на одном месте, и к нам доходят только глухие слухи, что минимум установлен в $5^1/_2$ или 6 руб. в день.

С фронта приезжают солдаты-рабочие. Куда их девать?

А здесь мы помираем с голоду. Сегодня последнее число ноября, а выдали за ноябрь только по 4 фунта муки. Положение спасли, разумеется, только мешечники. Они разрядили атмосферу голодного бунта: разумеется, они же предварительно и испортили все дело, подняв цены на местах до неимоверной цифры и дав понять крестьянину, что, сидя на месте, — помимо всяких твердых цен, — к нему придут толпы мешечников и дадут ему во много раз дороже. Так оно и получилось на деле. Управы не могли больше закупать, переправлять сюда достаточное количество хлеба. А волна мешечников продолжала охлестывать хлебородные губернии. По имеющимся сведениям, сюда, в Иваново, ввезено за ноябрь мешечниками около пятидесяти вагонов муки. Об этом говорил член Продовольственной уездной управы. На деньги менять было трудно, и рабочие меняли на мануфактуру. Теперь выдачу мануфактуры прекратили, чтобы собрать ее в руки Продовольственной районной управы, которая организованно и обменяла бы ее на хлеб. Но некоторые фабричные комитеты, неосведомленные в достаточной мере секретарями о советском решении, продолжали выдавать рабочим мануфактуру по своему усмотрению.

Вот и пошло волнение. Заволновались на одной, заволновались на другой фабрике, а тут и негодяи нашлись; подуськивают, чтобы разогнать комитеты и Совет. Недовольная, обозленная масса всему верит.

Мы словно на вулкане.

Каждую минуту только и ждем, что сама же рабочая масса кувырнет нас с почетного и мучительного поста, — кувырнет и сама бешено закружится в безумном, безудержном вихре

отчаяния. О контр-революции речи уже нет. Здесь с этой стороны опасность небольшая.

Но вот свои же товарищи, измученные, уставшие, отчаявшиеся, обозленные, к тому же, разумеется, наименее сознательные, — эти нас могут свалить в пропасть, прежде чем полететь туда самим.

*

Теперь, на десятом месяце революции, в сотый раз подымаем мы вопрос о реорганизации Совета, — всей его работы и работы Исполнительного комитета.

Исполнительный комитет разбили на комиссии.

Имеется тут и экономическая, которая, бог даст, разовьется в Совет рабочего контроля; имеется и финансовая, которая причастна к первой и ведает, в частности, изыcканием средств Совету; хозяйственная, культурно-просветительная, комиссия труда.

Но ведь всюду нужны знатоки своего дела. А кого мы пошлем? Знающих работников нет. Боюсь, что реорганизации наши ни к чему не приведут. Главная причина здесь не в форме распределения работ, а в недостатке работников.

Если бы были работники, — функции каждого определились бы сами по себе. Распределение пришло бы естественным путем. А теперь подумаешь-подумаешь и видишь: назначь ты его в финансовую, хозяйственную, культурно-просветительную комиссию, — толк все равно будет одинаковый. Дело ему все равно новое и на любом месте он все равно будет начинать с азбуки.

Наше положение поистине трагично. А Совет — «верховная» власть в городе. И город ведь не маленький, более ста пятидесяти тысяч душ.

Вот положение. А бороться надо. Подлая изменница — интеллигенция — встала в ряды врагов трудового народа.

Полагаться приходится лишь на собственную силу, на собственное мужество и собственное знание. В этом трагизм, но согласитесь, что в этом достаточно и самоотвержения, достаточно грозного величия. Рабочий, темный и уставший, истерзанный донельзя непосильной борьбой, кует счастье будущим поколениям.

2 декабря 1917 г.

Это все происходило негласно, конспиративно. Правление профессионального союза в экстренном порядке пригласило нас — Самойлова, Колесанова и меня — для разрешения неотложно-срочного дела.

Приехали. Заперлись в комнату. Никого не пускаем. Говорим вполголоса. С делом познакомил Асаткин.

— Согласительная комиссия, заседающая теперь в Москве, сказал он, ничего не даст. Надо браться за дело самим. Фабриканты установили свой минимум в 2.25 вместо наших $7^1/_2$ и через голову союза обращаются прямо к рабочим вот с такими бумажками (он показал нам постановления фабрикантов, датированные 29 ноября).

«На всероссийском съезде текстилей в Москве постановлено вводить минимум явочным порядком. Медлить дальше нельзя. Рабочие волнуются и перестают доверять профессиональному союзу.

«У фабрикантов два-три вождя.

«Необходимо в первую голову изъять из обращения. Затем необходимо осмотреться кругом и позаботиться, чтобы в нашем лагере было вполне спокойно.

«Предлагаю обменяться мнениями».

Много говорили мы о производстве, заглядывали во все щели и старались все предусмотреть.

Речь шла о полном устранении фабрикантов от производства, — даже в тех отдельных случаях, когда фабриканты

принимают минимум. Управление сгруппировывается в руках особой коллегии, где одна треть от служащих — администрации и две трети от рабочих. Эта коллегия регулирует производство, находясь в теснейшем контакте с фабрично-заводским комитетом.

★

В области решено создать Совет народных комиссаров, который ответственен перед Областным съездом Советов. Намечены комиссариаты:

1) Труда,
2) Снабжения (промышленности),
3) Земледелия,
4) Продовольствия,
5) Просвещения и Юстиции,
6) Внутренних дел (он же премьер).

Этот вопрос решался уже вкупе с приехавшими делегатами от Советов: Кинешемского, Вичугского, Тейковского, Середского, Шуйского... От нас был кворум президиума.

Все крупные Советы области были налицо. 6-го решено созвать областную конференцию Советов, союзов, фабрично-заводских комитетов, самоуправлений и кооперативов.

Из пестрой повестки дня выступают вопросы о рабочем контроле и демобилизации армии и промышленности.

Вчера же (1-го) посланы были в Москву красногвардейцы для ареста вожаков нашей буржуазии: Неведомского, Вейсмана, Лазарева, Лебедева, Доброва.

Сегодня из Москвы звонили: всех пятерых взяли на заседании согласительной комиссии, возобновившей, повидимому, переговоры. Там переполох и недоумение. Комиссия прекратила работу. Негодяев везут сюда. Тюрьма готова — пять одиночек. Об этом сегодня был соответствующий разговор с Бубновым.

По всем Советам дана инструкция о порядке ведения национализации заводов и фабрик; о мерах противодействия попыткам открытого и тайного саботажа; о сохранении администрации на местах путем отобрания подписок о невыезде своем, семьи и родственников без ведома Советов.

Всюду устанавливается строгий надзор.

Создание Совета комиссаров отложили до съезда.

4 декабря 1917 г.

Согласно декрета Советом создается революционный трибунал и институт выборных судей. Оглядываюсь я на товарищей по советской работе и спрашиваю:

— Но кто же, все-таки, возьмется из нас за это большое, серьезное дело? Ведь ни один из нас не понимает ничего в юридических науках. Ведь дело требует все-таки некоторых специальных знаний, а кто из нас знает что-нибудь? И становится горько, безнадежно горько.

Есть у нас один разъединственный юрист, да и тот завален работой в областном союзе текстилей. Перегруженности работой мы не признаем и потому живо приволокли его на свое заседание:

— Хоть разорвись, а работай и с нами.

У текстилей в союзе одного заездили до психиатрической лечебницы. Вообще, человеку чуткому и нервному в этой работе долго не работать. Да это и не работа, а сплошное горение самым жарким, самым ярким полымем. Мы худеем и бледнеем на глазах друг у друга и, словно по уговору, молчим, избегаем об этом говорить, чтобы сохранить бодрость. До чего-либо окончательного так и не договорились. Да вспомнили еще, что в городской думе этот же вопрос уже подымался однажды, вспомнили и обрадовались, что не все еще двери закрыты перед нами.

Следует вообще заметить, что мы очень и очень радуемся, когда вдруг представляется возможность передать куда-нибудь хоть маленькое дело, не говоря уже о крупном. Только и разнюхиваем какую-нибудь секцию, подсекцию, комиссию, коллегию или что-нибудь в этом роде.

Обрадовались и теперь. Назначили совместное заседание. Пришли. Из юристов один большевик, другой меньшевик, третий эсер. Говорили больше они, мы высказывались мало, ибо мало и понимали, говоря откровенно.

Большевик утверждал, что в революционное время закон — вещь условная. Мы не должны следовать слепо указке, откуда бы она ни исходила, не должны заниматься буквоедством. Пусть народные комиссары — наша власть, и пусть эта власть поручает дело организации института выборных судей Совету. Но мы должны руководствоваться принципом целесообразности.

У Совета нет средств, нет кандидатов.

У Думы есть и то и другое.

Дума в своем большинстве с нами единомышленна. Следовательно, мы без опасности для себя можем препоручить ей дело, разумеется, совместно с нами, т. е. Советом.

Другие отстаивали противоположное.

Говорили, что важна чистота принципа: раз организация советская — Совет и должен создавать ее. Кандидаты найдутся, тем более, что высшее образование теперь необязательно для этих должностей, а деньги добудем — частью обложением имущих, частью от самой Городской управы.

На этом и остановились. В управу подано более сорока заявлений желающих занять судейские посты.

Теперь они откажутся, раз за дело возьмется Совет. Вот наше горе: все от нас уходят, как только видят, что мы приближаемся.

Есть что-то страшное для них в непосредственном сопри-

косновении с пролетарской лавиной: одни морщатся брезгливо и сторонятся; другие презрительно обходят сбоку и ядовито усмехаются; третьи дрожат, как листы по осени, и от страха подымаются на задние лапки. Но и те, и другие, и третьи полны ненависти и затаенной жажды мести.

*

На бирже труда записано до трех тысяч безработных. Они массами приходят к Совету и требуют работы. Но представьте наше положение: откуда же мы, из пальца что ли, высосем им работу.

Совместно с городским самоуправлением обдумали вопрос об организации общественных работ и согласились, что необходимо будет построить деревянные амбулатории, театр для рабочих, пилить дрова, подметать улицы, кое-где снять пленных с работ и заместить своими, устроить дешевую столовую и т. д.

Все это хорошо, но как-то мало верится, что все это будет когда-нибудь осуществлено. В самоуправлении нет денег, да и взяться некому за такое большое дело.

С биржи труда на всякую работу ведь не пойдут. Посылали, например, в ассенизационный обоз, на рубку леса, на уличные работы, — не идут. Много квалифицированных рабочих, и на черную работу им, разумеется, итти не хочется. Дело осложняется.

Поднят был вопрос о расширении производства, об устройстве новых смен, о пуске новых станков, даже об открытии нового завода, благо народными комиссарами отчислено три миллиарда на демобилизацию промышленности. Но все эти вопросы затрагивались не к месту. Через день, 6-го, созывается областная конференция Советов, союзов, комитетов и других организаций. Там эти вопросы будут поставлены во всю широту.

У нас в Совете имеется такое постановление: принимать приходящих с фронта на старые должности, если они свободны, а если не свободны — в запас.

Но у фабрикантов, оказывается, есть свое постановление от 13 октября: принимать приходящих с войны лишь за счет работающих, т. е. после предварительного расчета.

Но свое постановление мы строго проводим через фабричные комитеты и во многих случаях наперекор администрации, совершенно устраняя ее от дела.

Беда наша в том, что до сих пор еще не спелись даже с своими-то организациями. Например, комиссия труда при Совете и самоуправления совершенно незнакомы между собой и, кажется, первый только раз услышали друг о дружке за сегодняшний вечер. А революции уже скоро десять месяцев. Вот она работа — вразброд, случайно, опрометчиво...

Силы много, а толку мало.

И скорбно становится от бессилья нашей могучей силы.

6 декабря 1917 г.

Вопрос о переизбрании президиума поднят мною. Председатель, Федор Никитич Самойлов, слишком деликатный и мягкий человек, да притом больной, нерешительный. А теперь, когда Совет сделался властью, необходимо голову в Совете иметь решительную, действенную, быть может, деспотическую.

Работа Исполнительного комитета хромает не только потому, что нет хороших работников, но и по халатности имеющихся. Придут часов в 12, потолкуют часа два-три и уходят... За это получают 300 руб. Необходимо ввести строгую дисциплину внутри самого Исполнительного коми-

тета: чтоб во-время являлись; раньше срока не уходили, чтоб в Совете попусту не мотались, а работали и проч.

А то взвалили работу на троих-четверых и успокоились... Ну что, например, делают вот эти Колесковы, Константиновы, Поляковы, Синицины и другие... Ведь решительно ничего. И таких около пятнадцати человек, даже больше, из двадцати пяти. Вот всю эту компанию и необходимо связать по возможности в единое целое, каждому дать свою работу, поставить на свое место.

А кроткий Федор Никитич не подходит для роли организатора.

Товарищ председателя, Наумов, занят в редакции и заседания Исполнительного комитета посещает лишь налетом; я так изнервничался, что боюсь вообще навредить работе, и потому хотел бы остаться рядовым членом и поработать в культурно-просветительной комиссии.

Впрочем, едва ли это осуществится. Сегодня предстоит съезду организовать областное бюро Советов. В узкую коллегию этого бюро, работающую постоянно, выбрали и меня. Предстоит колоссальная работа по объединению Советов области в единый центр. Вот и отдых.

Федор Никитич оставлен был тов. председателя; другим товарищем избрали Скороходова, а председателем — Калашникова.

Завтра очередное заседание Совета. Необходимо составить повестку дня. Неужели везде повестки составляются так же, как и у нас?

Минут 15 — 20 сидели впустую, не придумав ни одного вопроса.

Потом придумали:

Утверждение президиума. А что же дальше? Сунули еще какой-то маленький вопрос и залепили повестку неизменными текущими делами, предоставив самому собранию вкла-

дывать конкретное содержание в эту туманную формулу. На завтра — Областной съезд, поэтому со многими вопросами и медлили, чтобы дать им оформиться предварительно на съезде.

На заседания Исполнительного комитета то и дело врываются с делами «вне очереди».

— Очень спешно, товарищи, не терпит никакого отлагательства.

— Ну, что — говорите...

— У Бурылина задержана женщина; под полой у нее найден аршин двадцать — двадцать пять сурового миткалю... Когда она...

— Да позвольте, позвольте, чорт вас дери, какое же это «вне очереди» и чего вы врываетесь в Исполнительный комитет. Передайте дело в конфликтную комиссию.

— Товарищи, извиняюсь...

— Что у вас?...

— Неотложное, срочное дело...

— Может быть, такое же?..

— Нет, весьма важное, — всего города касается...

— Ну, в чем дело?

— У Куваева служащих задержали в конторе и не выпускают...

— Да ведь это дело уже разбирали и давно звонили туда, чтобы служащих выпустили...

— А... Ну ладно...

С такими «внеочередными» заявлениями просто замают. Редко-редко попадет среди них действительно спешное дело...



Наша максималистская группа собирается регулярно по вторникам и воскресеньям. Изучаем политическую эконо-

мию. Но большинство относится к делу спустя рукава и посещает собрания из пятого в десятое. Только пять-шесть человек исправны и занимаются как следует.

Приходит и посторонняя публика — садится, слушает, иногда принимает участие и в спорах-вопросах.

Ходят некоторые из большевиков, жалеют, что у них в комитете не бывает подобных собраний, где бы что-нибудь изучалось.

Не устроил я для рабочих те две лекции, что хотел. Все нет времени. Да тут и события подгрузили так, что совсем не до лекций было... Вот и медлю. А надо бы, давно уж надо бы познакомить их подробнее с Трудовой Республикой.

РАЙСОВЕТ

6 — 8 декабря 1917 г.

На 6-ое декабря в Иванове был назначен Областной съезд Советов, союзов, комитетов, самоуправлений — городских и земских.

От этого съезда мы ждали очень многого, а главным образом разрешения вопроса о рабочем контроле и демобилизации, с одной стороны, и создания твердой власти в области, с другой.

С самого раннего утра стали являться в Совет делегаты для получения мандатов, но мандатная комиссия пришла только в первом часу, и в результате съезд открылся в четвертом.

Асаткин как председатель организационной комиссии сделал краткое сообщение о целях созыва этого съезда и о плане предполагающейся его работы. Выбрали президиум из девяти человек, в число которых попал, между прочим, и я. Начались доклады:

О профессиональных союзах,

О рабочем законодательстве,

О взаимоотношениях союзов и фабрично-заводских комитетов.

Особенно долгие прения вызвал последний, третий вопрос.

Представители союза тянули в свою сторону и старались низвести фабрично-заводские комитеты до роли простых придатков профессиональных коллективов, а представители комитетов утверждали, что члены союза на местах являются лишь простыми сборщиками и совершенно не могут выполнять какую-либо политическую работу. Спорили об этом по крайней мере часа три, и в результате каждый остался при своем мнении. Съехалось на съезд человек триста, и из них самой малочисленной группой была группа советская.

Съезд разделился в первый же день на секции:

организационную,
рабочую и
продовольственную.

Каждая секция заседала особо, должна была вынести по отведенным ей вопросам резолюции и представить их на утверждение пленума. Но разделение оказалось нежизненным, 95% членов съезда оказались в рабочей секции, а на следующий день сюда перебрались и остальные представители организационной и продовольственной секций.

В редакционную комиссию, избранную в рабочей секции, пополненную и утвержденную в пленуме, сдавались все резолюции и тезисы.

Первый день миновал сравнительно благополучно. Только становилось ясно, что это многословие загубит настоящее дело. «Говорители» совершенно забывали, зачем они приехали на съезд, и бесцеремонно отнимали у съезда один час за другим. Время шло, а реальных плодов никаких не предвиделось. Съезд был рассчитан на три-четыре дня. Один из четырех уже минул, а главные вопросы еще не были затронуты. Пессимистические предположения, к глубокому сожалению, оправдались, и следующий день был абсолютно потерян на споры и раздоры. О чем был спор, даже трудно сказать, но ясно было, что нет еще между нами того един-

ства, той сплоченности, о которой мы так любим говорить.

Киселев, например, горячо осуждал профессиональный союз за то, что он думает «проглотить» фабрично-заводские комитеты, взять первую скрипку в оркестре и, словом, захватить власть.

Он даже взывает к собранию:

— За кем же мы идем, товарищи? Ведь, в союзе работает много эсеров и меньшевиков... Например, Богданов, Смирнов... Ведь, они тянут свое...

После Киселев извинялся за горячку, сам призывал к спокойствию, но было уже поздно: на следующий день правление союза подало в отставку. Остался один Осадкин.

Выбрали районный совет рабочих и солдатских депутатов в количестве двенадцати человек. Из них два комиссара:

труда — Осадкин,

промышленности — Могилевский.

Остальные — члены: Станкевич, Почерников, Разумов, Савченко, Коротков, Шашунов, Зарецкий, Климохин, Наумов, Фурманов.

Заслушали доклады и по всем оставшимся вопросам. Но это была уже совершенно излишняя формальность: кончить все, во что бы то ни стало. К ночи третьего дня все страшно утомились. Не было никакого смысла продолжать заседание. И все-таки дотянули до конца.

Что дал нам этот съезд?

Ничего.

В большинстве представители не имели императивных мандатов и ощупью разбирались во всех вопросах: на местах обсудить не успели, съезд был создан чрезмерно быстро и непродуманно. По многим вопросам не имелось подготовленных докладчиков.

Получили мы от съезда лишь кипу надоевших, никому ненужных резолюций. И все. А живого дела, разрешения на-

сущных вопросов о рабочем контроле, о демобилизации армии и промышленности — этого коснулись как-то вскользь, а, ведь, мы, когда собирались, надеялись, что после съезда наладим работу на заводах в две смены там, где одна; может быть, в три смены там, где две. Начнем перегруппировку рабочих; многих пустим на общественные работы; добудем побольше хлопка (а Московские склады им переполнены), разгрузим свои, переполненные мануфактурой, склады... Вот, чего мы ждали. Думали, что съезд наметит вехи, даст руководящие указания... И что же получилось? Сказано было несколько всем известных истин, призваны были все «к плодотворной и спешной работе» — и только. А призывом да пожеланием вопрос не решается. Разговоры были, несомненно, не по существу. Собрание было неделовое. Все та же пустая, надоевшая болтовня, что и на любом многолюдном собрании, хотя бы и на демократическом (вечная ему память, сердечному).

Чего только нет в наших собраниях! Все есть, но нет главного: дела.

И потому нет дела, что для дела нужны определенные знания, определенный навык, уменье... А кто из нас учен и опытен? Нет таких. Есть много умных, честных людей, благородных, самоотверженных борцов, но людей большого знания и опыта — нет. Горизонт наш и беспредельно широк и бесконечно убог. Все это сразу, ибо мечту о деле и самое дело мы не разделяем. Редко-редко предложит кто-нибудь конкретную меру — действительную, радикальную, продуманную. Больше все так себе — слету, что взбрело на ум. Ляпнет, совершенно не подумавши, и баста. Пройдет эта мера или не пройдет, — его зачастую совершенно не занимает.

Важнее всего — выступить во что бы то ни стало со своим собственным предложением, выступить на-авось. И это

«авось» к горю нашему нередко влечет за собою много бед, в первую голову нам же самим, принявшим «закон — авось» за мудрый совет.

10 декабря 1917 г.

Районному Совету было поручено в конце декабря созвать новый Областной съезд, на котором, между прочим, была бы сконструирована окончательно районная власть. Мы властвуем, следовательно, только две недели. А дела возложено на нас такая масса, что, дай бог, и в два года управиться. Всего на двенадцать человек, но относительно троих можно наверное сказать, что ни разу сюда и не заглянут.

Не по лени, не по прихоти, а просто дело встанет, если они переберутся сюда на новую работу. Остается девять человек. Один взял совершенно не ко времени отпуск на четыре дня, у другого срочнейшие дела по коллективному договору; дальше идет уездный комиссар, за ним редактор газеты и т. д., и т. д. Это уж не работники в районном Совете. Им и без того работы по горло. Так уж оно и выходит, что нам с Наумычем придется все принять на себя.

Сегодня мы подготовляли материал по обложению торговых, промышленных и прочих предприятий, увеселительных заведений и проч. единовременным налогом в фонд районного и местных Советов. А что принять за основу, какую норму принять? Этого мы совершенно не знаем. Гадали, гадали и порешили брать за каждого работающего в предприятии один рубль с фабриканта, 10% с увеселительных заведений и т. д.

Затем отправились осматривать фабрикантские дома под районный Совет.

Лезли к ним во дворцы и заставляли бледнеть их перепуганные, растерянные лица. Они водили нас по комнатам и

предупредительно показывали и рассказывали какие-то небылицы и пустяки. Уверяли, что им некуда будет деваться, что их выгоняют напрасно и проч., и проч.

Характерно, что каждый указывал на другие фабрикантские дома и уверял, что они удобнее, давно пустуют и вообще совершенно, повидимому, готовы для реквизиции. Пришлось успокаивать, что «своевременно, дескать, и до них доберемся».

— Так вы уж лучше перевешали бы нас, что ли, — вскрикнула дама Витова.

— А это будущее покажет, — отвечаем ей.

Раскраснелась, разволновалась, так и пышет, так и мечет, а бессильна. А потому лишь больше злится и свирепеет.

13 декабря 1917 г.

Съезд закончился 8-го. Завтра 14-е. А Совет еще и не начинал работать как следует, ибо то, что он сделал, слишком малозначительно. Послали телеграмму народным комиссарам, чтобы они утвердили наших областных комиссаров труда и промышленности.

Заслушали и приняли декрет об обложении. С этим декретом сидели, по крайней мере, часа три, безбожно путались в разрядах, в промысловых свидетельствах и проч., тогда как знающему тут было бы дела всего на 15 — 20 минут.

Только Асаткин и вывозил, но он часто отлучался, а мы одни отвлекались и говорили не по существу. Разговор не по существу был логическим следствием нашего полного незнания дела и нащупывания вслепую там, где просто надо было твердо и кратко привести требуемую цифру.

Сегодня, 13-го, по моему предложению разбились на комиссии:

1) промышленная (Могилевский, Разумов, Коротков, И. И.),

2) труда (Асаткин, Шашунов, Климохин),

3) по организации съезда (Наумов, Зарецкий, Фурманов),

4) по конструированию власти и новой губ. (Станкевич, Почерников).

Надо думать, что работа пойдет успешнее. А то сойдемся, говорим, говорим, а толку решительно никакого. Вопросы перед нами стоят открыто, только не знаем, с которой стороны к ним прикоснуться. К примеру — мануфактурный вопрос. В мануфактуре везде страшная нужда. Приезжают к нам со всех концов России, приезжают из армии, из тыловых частей, едут крестьяне, едут рабочие, а мы даем один ответ:

— Ни аршина дать не можем, ибо у нас люди с голода помирают. За ноябрь мы получили всего по четыре фунта. Голоднее нашего города нет. Всю мануфактуру мы направляем в райпродуправу. Она ее огромными массами перебрасывает в хлебородные губернии в обмен на хлеб... Не можем, товарищи...

Так мы всегда отвечаем приезжающим делегатам. Все здесь, казалось бы, просто, понятно и веско, но на деле оказывается совсем иное. У райпродуправы, оказывается, нет никакой закономерности, никакого плана использования мануфактуры. Отсылают ее, как бог на душу положит. Наш район завален мануфактурой. Из Тейкова, например, сегодня сообщали, что все склады забиты и дальше некуда класть. У нас в Иванове тоже колоссальнейшие запасы — на много десятков миллионов рублей.

Необходимо срочно разгрузиться, ибо рабочим нехватает на дачку, и фабриканты уверяют, что в деньгах у них большой затор.

Что-то надо сделать с райпродуправой, в этом никто не сомневается, но никто еще и не знает, с которого конца к этому делу подойти. Вообще чувствуется беспомощность

и неуверенность на ряду с решительностью и большой смелостью в критические моменты, когда требуется проявление силы, а не знания, не опыта.

Много, много работы дано Совету. Подумаешь и закручинишься: а кто же делать-то будет эту работу? Ведь, мало одной нашей преданности, беззаветной преданности рабочему делу, мало смелости и решительности, мало бескорыстия и честности, — нужно знание, холодное, отчетливое знание дела. А у нас его нет. У нас нет, а те, что им обладают, не идут и никогда не пойдут к нам, ибо они в большинстве своем наши открытые враги.

Тяжело, товарищи, ой, тяжело! В могилу — и то легче.

17 декабря 1917 г.

У нас в максималистской группе всего восемнадцать-двадцать человек. Когда спрашивают сторонние: почему вас так мало, — спокойно и даже высокомерно мы отвечаем:

— К нам не так-то легко попасть. У нас подбор строгий. Для количества мы не берем. Мы строго процеживаем. Нужна рекомендация, убежденность, согласие взять на себя определенную функцию, работать для партии. Двери мы никому не закрываем: милости просим, приходите, — по вторникам и воскресеньям у нас очередные собрания, изучаем политическую экономию, свои дела разрешаем, — приходите и слушайте; числитесь кандидатом в члены, а когда мы увидим, что вы готовы, запишем и в члены...

Когда говорим, мы сами верим, что все именно так обстоит.

Но если присмотреться, — идейных максималистов нет.

У одних неопределенно анархические склонности и никаких знаний; другие — самые заурядные мещане, мало пригодные для боевой, кипучей борьбы за максимализм; тре-

тьи — просто политические младенцы, попавшие «по знакомству» через двух-трех членов, уже состоящих в группе. Сознания групповой связанности у очень и очень многих недостает. Работа в группе сильно хромает.

Лично мне работать некогда. Советская работа, как более крупная и ответственная, не дает возможности отрываться, захватывает целиком. Где важнее быть: в Совете или у максималистов? Я думаю, что в Совете.

★

Мы сами обкрадываем себя. Потому обкрадываем, что некультурны, что неправильно зачастую понимаем едва осознанное свое гражданское право и гражданскую обязанность.

Исполнительным комитетом Иваново-Вознесенска было постановлено не продавать и не выдавать временно ни одного аршина ситцу, а член того же Исполнительного комитета, Барабанов, пришел в свой фабричный комитет, набуянил, изломал стул и получил-таки свои 15 — 20 аршин.

Член Иваново-Вознесенской мануфактурной управы, Терентьев, уличен в изделии фальшивых ордеров на получение ситца. Документы в милиции.

Красногвардейцы, реквизируя муку, часто тут же перекупают ее «по дешевке» у перепуганного спекулянта. Подобный случай был и со сливочным маслом... Такие явления заурядны: у многих рыльце в пушку. Мы не умеем хранить чистоту своих организаций. Против многих справедливых обвинений абсолютно нечего возразить. К стене прижимают с поличным, и авторитет советской или иной организации колеблется у тебя же на глазах. Мы делаем невероятные усилия, чтобы очистить наши организации от грязного налета и все-таки не можем очистить разом всю грязь. Вековая тьма и новизна положения делают свое дело.

Действительно, у человека очутились в руках десятки тысяч рублей. Прежде он никогда не видал такой уймы денег. Рисуется перспектива: свой домишка, скотина, своя хорошая утварь, довольство...

Жажда мещанского покоя побеждает. Идейные соображения умирают, и вчерашний народный избранник делается вором. Но будучи вором неопытным, ворующим впервые, он попадается на первых же шагах.

Массы изголодались, устали, перестают доверяться вождям. Нужно что-то экстренное; нужны истерические выкрики и безумные проекты, чтобы быть признанным.

Так, разумеется, не везде и не всегда. Но в минуту крайнего возбуждения массы признают именно такого крикуна. Вот ему и открыта дорога. Мы сами позорим себя, сами себя бесцеремонно обкрадываем. Это уже расхищение собственного достояния. Но пресечь это зло, пресечь быстро — неимоверный труд, неосуществимая задача. Здесь нужно не глумленье со стороны, а непосредственная работа среди расхитителей.

20 декабря 1917 г.

Что он делает, Райсовет, на который смотрит с таким доверием вся рабочая масса района?

Он ничего почти не делает, ибо некому делать ту огромную работу, которая возложена на Совет Областным съездом.

Из двенадцати человек, членов Райсовета, ежедневно собирается всего шесть-семь человек. Это за последние дни, а первое время собирались все.

Заседания по большей части бывают бесплодны, потому что нет ни у кого определенного плана работы, нет конкретных предложений, зачастую решаем вопросы с плеча. Мы сходимся вооруженные одним лишь желанием «сделать побольше и получше». Желание это, несомненно,

имеется у каждого, и в большой степени, но, ведь, одних пожеланий слишком мало.

Почесать язык не штука. Много предлагается и проектов, но видно, что проекты эти выдуманы минуты две-три назад, случайно, скоропалительно, непродуманно.

Не учитываются последствия, даже самые близкие и определенно неизбежные. А задумываемся мало над вопросами потому, что в вопросах этих (промышленный, продовольственный и др.) оказываются недостаточными не только одни благие пожелания, но и один здравый смысл без определенных знаний, без опыта, без соответствующей подготовки.

Мы все здесь настроены по-боевому и верим свято в осуществимость своих планов; мы все здесь не глупы, если смотреть на дело с общей точки зрения, но когда приходится прикасаться к вопросам специальным, — тут здравый наш смысл оказывается почти нулем, выхода ясного не видим и не знаем, а потому и вопрос решаем с плеча.

Взять хотя бы дело с арестованными вождями нашей областной буржуазии — Неведомским, Добровым, Лазаревым.

Относительно их освобождения ходатайствуют со всех сторон — жены, личные друзья и сотоварищи по работе, представители союза объединенной промышленности, комиссар труда Шляпников и, наконец, Московский Совет рабочих и солдатских депутатов, плюс областной комиссар труда Ногин. Все требуют в один голос: «освободить».

Промышленники заявляют, что не вступят ни с кем ни в какие переговоры, не примут участия ни в каких третейских судах и согласительных комиссиях до тех пор, пока мы не освободим арестованных. У них цель понятная, — вернуть своих идеологов, вождей и начать удвоенную, упорную борьбу.

Они утверждают, что лишь только мы освободим аресто-

ванных, как они признают минимум, что тотчас же примут участие во всевозможных комиссиях.

Комиссары и Совет мотивируют свое требование тем, что мы еще слишком слабы, чтобы обойтись без фабрикантов, что промышленность погибнет, что посреднические комиссии пока еще необходимы, а раз так — освобождение необходимо.

Мы им всем отказали и мотивировали свой отказ следующим образом: Согласительные комиссии и прочая посредническая, мирная дребедень являются лишь удобной ширмой, за которой фабрикантам удобно вести свою подлую разрушительную работу, легче проводить в жизнь саботажнические приемы, легче оттягивать дело все дальше и дальше, волнуя и разъединяя рабочие массы. Эти посреднические учреждения отжили свой век; мы их считаем не только бесполезными, но и страшно вредными для всего рабочего дела; мы выходим на арену открытой политической борьбы даже в сфере требований чисто экономических. Мы издали циркуляр и приказ, согласно которым минимум проводится путем декретирования, а неподчиняющихся — препровождаем в тюрьму.

Нам важно высосать, выбрать из карманов фабрикантов все, что можно, дабы это «все» было вложено в предприятие. А тогда, — тогда простимся. Уже и теперь во многих местах фабрики и заводы перешли к рабочим и ведутся при помощи особых коллективов, созданных из рабочих и служащих предприятия.

Момент теперь острый и критический. Каждая лишняя преграда страшно осложняет нашу работу. Все преграды мы стремимся устранить заблаговременно. В такую минуту, когда важно, чтобы наши декреты безболезненно претворялись в жизнь, нам необходимо вырвать из вражьего стана самых опасных противников, которые могли бы повести

против нас организованное наступление, которое могут предвидеть наши действия, предугадывать методы нашей борьбы, — нам важно обессилить врага. И мы его обессиливаем. Предлагаем и в иных местах товарищам последовать нашему примеру. Это соображение разделяют и поддерживают даже такие крупные представители профессионального движения нашей области, как Асаткин и Климохин. Даже они сознали, что прежние формы борьбы профессиональных союзов теперь уже негодны. Кроме того, у Неведомского на даче найдено много оружия, — это также сильная улика. Обоим делегатам Московского Совета, приезжавшим последовательно 15, 16 и 20-го, мы дали одинаковый ответ:

— Арестованные будут сидеть, и свое постановление мы оставляем в силе...

Последнему делегату было сообщено, что арестованных можно будет выпустить лишь в том случае, если создастся третейский суд с арбитром — комиссаром труда. На этом пока вопрос и закончился.

Вопрос большой, ибо конфликт возникает уже между рабочими организациями, между своим же «начальством» и «подчиненными».

Московский Совет предъявил даже ультиматум (правда, неофициально, в форме мнения отдельных членов президиума), ультиматум, отрицательная сторона которого заключается в возможности «разрыва» между Москвою и нами.

Мы не подчиняемся «начальству», ибо нам здесь, на месте, дело виднее; мы признаем совершенно нецелесообразным переменять свое решение; если мы выпустим врагов, они напакостят нам в деле проведения нашего циркуляра в жизнь; против нас поднимется тогда обозленная трехсоттысячная рабочая масса и справедливо будет укорять и ви-

нить нас в непоследовательности, в малодушии и в слепом подчинении дисциплине.

А, может быть, комиссары отстаивают «общегосударственную» точку зрения, может быть, мы не дооцениваем чего-нибудь очень и очень важного?.. Все может быть. Предпоследнее голосование (с первым делегатом Московского Совета) даже раскололо нас на два равные лагеря: 3 против 3-х. Сегодня 4 против 1-го и против 1-го, ибо я внес свое предложение особо:

— Прекратить вообще всяческие попытки переговоров с фабрикантами и усилить повсеместные репрессии, главным образом, «изъятие» вражеских вождей.

Мы, быть может, многого не учитываем. А за нами ведь триста тысяч одних рабочих. Вот какое дело приходится решать впятером - вшестером, да вдобавок людям мало опытным, мало знающим.

Даже становится несколько жутко: а что, если наше предложение основано только на добром желании? Что, если оно вредно рабочим? Этот вопрос все время давит своею громадностью и серьезностью.

3 января 1918 г.

Под Райсовет мы заняли дом Полушина — громадный прекрасный дворец, во многом напоминающий дворец Кшесинской.

Осмотрели мы уже домов пять-шесть. Один лучше другого. Глаза разбегаются, не знаешь, на котором остановиться. Сперва зашли мы к Витову. Вышла барыня — полная, красивая, высокая.

Побледнела, задрожала, перепугалась... Даже ничего не говорит: стоит и смотрит на нас вопросительно.

— Мы — члены Исполнительного комитета... Мы пришли

осмотреть ваш дом под Районный Совет рабочих и солдатских депутатов....

Она смотрит растерянно и, повидимому, хорошенько еще не соображает, в чем дело.

— Пойдемте... Пожалуйте...

И повела нас по комнатам...

— От этой комнаты нет ключа, от этой тоже нет...

— Придется взломать...

Через пять минут нашлись ключи.

Румяные, рыхлые, избалованные горничные, няни, кухарки и прочая челядь испуганно толпились в дверях. На их лицах было и изумление и ненависть к нам.

А у Полушина заведующий домом развязно заявил:

— Убраться, говорите, надо... Здесь, ведь, господа, убраться не недельку и не две нужно... Тут месяц, а то, пожалуй, и больше...

— Ах, месяц нужно... Ну, нам ждать некогда: завтра же утром пришлем красногвардейцев и все повыкидаем на двор...

— Нет, зачем же, мы поторопимся...

Наутро, когда мы явились часов в 11, половина мебели была уже убрана, а через день очистили и весь дом...

— Привяжите собак на цепь...

— Нет, пускай бегают, что же...

— Завтра пристрелим...

Наутро собаки были привязаны. Вообще, с этой публикой приходится применять своеобразную тактику: народишко дрянной, изолгавшийся, утерявший всякую демократическую подкладку. Это уже верные псы, прислужники богатеев. Вошел дворник:

— А надолго ли вы сюда, господа?..

— Надолго, дядюшка, навсегда...

— А как же барин-то?.. Когда приедет, где же он остановится?

— А где хочет: хочет — в номере, а не хочет, — пусть квартирку себе где-нибудь подыскивает...

— Так, ведь, дом-то у него собственный...

— Э, дядя, какой тут собственный. Теперь нет у них собственных домов, все наше... Один дом возьмем под больницу, другой под родильный дом, третий под приют, — так понемногу все и разберем... А ты говоришь: собственный... Был собственный, а теперь чужой...

Дядя ничего не понял. Развел руками и ушел в недоумении.

Распорядились мы оставить на месте столы, стулья, кровати, шкафы и прочую мебель. Вообще распоряжались, как у себя дома. Экономка ходила сзади и приговаривала:

— Хорошо, оставим... Хорошо, оставим...

Теперь нам заниматься удобно. Жаловаться нельзя.

Работа в нашей группе замерла окончательно. Товарища Сидорова «протолкнули» в Исполнительный комитет Совета, и торговать литературой и газетами совершенно некому. Комитет целый день закрыт. Сидорова в Исполнительный комитет отпустили без сожаления: человек больной, жить не на что, а там все-таки 300 руб. Впрочем, может быть, я преуменьшаю нашу работу. Два раза в неделю все-таки собираемся, и я провожу с товарищами беседы по политической экономии. Беседуем и по вопросам текущего момента. Горе в том, что говорить приходится мне одному: они только слушают, — плохие максималисты.

Устроил я недавно две лекции о Трудовой Республике: одна у Н. Горелина, другая у Куваева. Завтра, 4-го, с почтово-телеграфными служащими, а 6-го с железнодорожниками.

Горе только в том, что никто не помогает.

В Петербурге убили максималиста Лебедева: его семье по-

слали 100 руб. Денег осталось рублей 600. Притока средств почти нет. Только и пополняю, что своими лекциями. Думаем издать газетку или хотя бы листок, но опять-таки сверху до низу писать его придется мне одному. А писать некогда. С центром связи почти никакой.

Нас, навещающих комитет, человек десять-пятнадцать. И все-таки надо сказать, что группа наша пользуется большим сочувствием и вниманием в рабочей среде... Все толкуем о вооружении, о создании боевой дружины, но оружие достать неоткуда. Впрочем, человек восемь-десять вооружены, ибо состоят в Красной Гвардии.

8 января 1918 г.

Еще месяца три-четыре назад пришлось мне у железнодорожников проводить митинг. Еще тогда видел я, что сочувствие их на нашей, на советской, стороне. Потом они часто вспоминали, приглашали еще, хотели послушать. Я выбрал время и устроил платную лекцию о Трудовой Республике, а чистый сбор (около 100 рублей), разумеется, — в группу. Как и всюду, где мне приходилось читать эту лекцию, сочувствие аудитории было со мной.

Железнодорожники бурно аплодировали, благодарили, просили притти и поговорить еще. Низший персонал железнодорожников с нами. Та «целесообразность», о которой говорил на конференции тов. Ривкин, руководит всеми работами нашей группы. Даже одно слово, без определенного, конкретного содержания, дает какую-то особенную бодрость, расчищает дорогу, указывает путь. Целесообразность можно, пожалуй, понять и своеобразно: держи нос по ветру, делай, что выгодно в данную минуту, не осложняй дела, сравнивай углы, подкрадывайся к цели...

Но у нас, идущих напролом, принцип целесообразности никогда не может извратиться подобным образом. Цель,

как факел, горит впереди, а форму продвижения мы выискиваем сами.

Мы разом бьем по всем фронтам, вербуем отовсюду себе единомышленников: рабочие, солдаты, почтовики, телеграфисты, телефонисты, казначейские, банковские, железнодорожники — все захвачены нашей пропагандой, никого не выпускаем мы из поля зрения. Благодаря этому и в городе мирно, и организации работают единодушно.

По всем фронтам — это наш девиз. В нем и живет сущность принципа целесообразности.

16 января 1918 г.

Голодуха смертная. В ноябре получили по четыре фунта на брата, в декабре по восемь. Мало. Голодно. Страшно за народ.

Отрадно лишь то, что в эти страшные и величественные дни вся наша семья нуждается так же, как самый последний бедняк. Весьма и весьма часто не бывает ни пылинки муки. Жуем скопленные огрызки — сухари. Провидение тем временем не дремлет: или в лавке начнут выдавать, или мать попризаймет, или Таня удружит, принесет десять — пятнадцать фунтов. У многих рабочих запасено по восьми-десяти и более пудов. Мы, по сравнению с такими, являемся голышами. И это радует меня.

Мы голодаем. Голодаем и молчим.

★

С рабочими (а их собралось около полутора тысяч)) беседовал часа полтора. После товарищи только удивлялись на своих рабочих:

— Вот полтора часа говорил, — а кашлянул ли кто? Никто... А почему? Да потому, что некогда было, за душу брало...

— А у нас пяти минут постоять не могут, словно звери завоют...

— Вот оно слово-то...

Они меня хвалили в глаза и ничуть не стеснялись, хотя видели, что мне стыдно за них.

— Товарищ Фурманов — лучший оратор среди рабочих, — почему-то вдруг заявил на собрании председатель фабрично-заводского комитета. Я хотел одернуть, но было уже поздно. Разумеется, все это льстило, но больше было стыдно, нежели лестно и приятно.

Рабочие слушали удивительно внимательно, я поразился. За истекший месяц они получили всего четыре фунта ржаной, а сахару получили только в ноябре по одному фунту. И молчат. Это, ведь, просто поразительное явление. Как же не поклоняться нашему рабочему.

На железной дороге, где каждая кучка могла бы ехать бесплатно (ибо кондуктора теперь — ничто), почти не видно зайцев, все исправно берут билеты.

Преинтересные картины можно наблюдать на железной дороге:

Теплушка... Народу набилось вплотную. В крошечной печурке тлеется полено. Все жмутся к огню и дрожат: тут и артист в котелке, и деревенские бабы в овчинах, и солдаты — мешечники... Снизу показывается голова кондуктора; взор напрасно прыгает с валенка на валенок, — негде ему остановиться.

— Ну, как, граждане в международном, тепло ли?

— Полезай, мы тебя вместо полена запихнем...

Кондуктор, ни на секунду не смутившись, продолжал:

— Нате-ка, ребята, фонарь возьмите, поставьте в углу.

Фонарь берут и ставят...

— А вы коксом потопите...

— Где его возьмешь?..

— Да в каждом углу бывает — пошарь, не велик барин-то, ручки, поди, не замараешь...

— Эх ты, казна - казна, — вздыхает солдат, — морду бы тебе набить, да жалко.

Кондуктор куда-то убегает.

— Ну, что, бабы, — за мукой, что ли?

— Где за мукой... По домам едем...

— Хорошо вам, бабы: там, по деревням-то, «вся власть бабам» передана.

— По городам — Советы, а по деревням — бабы...

— Вот и провоевали муку - то...

— Мы — Россию, а вы — муку провоевали.

— Это чего же мы? Это вы и провоевали...

— Нет, тетка, не скипидарься... Мы ваше положение хорошо понимаем...

— Там, на фронте-то, мы австрийца в плен брали, да сюда посылали.

— А он приедет сюда, да у тебя же бабу в плен и заберет...

— Вон, какие все сынишки у нас пошли: ни в отца, ни в деда... Чертенята какие-то, словно и пищат не по-нашему...

— Вот оно что, значит, — провоевали-то...

— Сеяли в одиночку, а жали вдвоем...

— Некогда было...

— А вы, поди, на фронте монахами жили... От вас, поди, не рожали там девки... У вас только не приметишь ничего — вот и отругиваешь бабу...

Баба очутилась одна под перекрестным огнем всей солдатской «секции» вагона...

Язвили и острили крепко. Бабу доняли чуть не до слез, но все-таки она отбивалась и довольно умело и ядовито.

☆

Телеграмма народного комиссара труда извещала о необходимости срочного создания органов управления фабрично-заводскими предприятиями и уведомляла о том, что декрет о национализации фабрик последует в ближайшие дни.

Асаткин и Климохин в тот же вечер отправились в Вичугу, куда была дана предварительно телефонограмма о необходимости к их приезду срочно созвать заседание Исполнительного комитета, профессионального союза и фабрично-заводского комитета. В Вичуге правление было выбрано из пятнадцати, в Каменке — из семнадцати человек. Там и здесь — две трети рабочих. Там и здесь, в виду возможности осложнений, было введено военное положение.

Здесь, в Иванове, рабочие завода бывшего Шифферса, явились в Райсовет в начале января и предложили нам обследовать его годность к работе, заявив, что работу поведут сами, что заказы имеются, чугуна, топлива и свету хватит месяца на два... Назначена была комиссия, которая установила полную пригодность для работы, отметив даже, что число рабочих можно увеличить втрое. Завод тронулся руками самих рабочих 16-го сего месяца.

На другой завод, Анонимного Общества, прислано от народных комиссаров свыше 500 тыс. руб., чтобы можно было разом его поставить на ноги, расширить и считать народной собственностью. Завод большой и обслуживает все фабрики нашего района.

17 января 1918 г.

Вот уже два слишком месяца, как мы не видели, не читали своих максималистских газет и журналов. Да и прежде-то мы читали их из пятого в десятое. Воспитание наше идет через большевистскую прессу.

Мы воспитываемся на «Правде», Социал-демократе», ну, бывает, и «Новой жизни».

Нам, разрозненным, не имеющим совета и указания от старых партийных работников, от вождей, — нам слишком трудно разбираться в вихре событий. Но эта невозможность получить совет (не наказ) сверху имеет и хорошую сторону: она укрепляет сознание в духе самостоятельности, решительности, быстроты и личной инициативы.

Вехи предначертаны. Дорогу пробиваем сами. Форму борьбы создает сама жизнь, сложная комбинация отношений и фактов. Мы — чернорабочие в революции и не гнушаемся прикоснуться ко всякой грязи, лишь была бы уверенность, что прикосновение это целесообразно.

18 января 1918 г.

Вчера мною было установлено, что идея рабочего клуба мною усваивалась по-ребячески. Некогда было задуматься, некогда было разобраться. Вчера натолкнули. Я увидел, что публика, которая является завсегдатаем клуба — кучка мещан, а не рабочие. Теперь только я увидел, что на них растрачивать свои силы, их забавлять не стоит. Надо создать нечто более серьезное и создать именно для рабочих. На жизни учишься. Она обжигает и обнажает.

Разом узнаешь правду и просветляешься мгновенно. И как-то легко становится. Словно грязную тряпку сорвешь с глаз, словно скользкий пласт оттащишь с полнокровного сердца. Легко, твердо, весело станет от этого прояснения. Встанешь на грунт и чувствуешь, что больше с него не сдвинешься.

«Ни сырья, ни топлива, да и деньжонок никак не найдем. Текущих счетов никаких не находим, а денег не дают. Не только не дают, а и носу-то на свою фабрику не показы-

вают... Необходимо с этими негодяями дело делать по-быстрому. Их два хозяина.

На 28-е декабря и 2-е января мы вызывали их на обсуждение дела. Не явились, даже не ответили.

Теперь церемониться некогда, фабрику надо брать самим...»

Сказано — сделано. Послана телеграмма народным комиссарам, ждем декрета о социализации.

А пока формируем новое правление. В этом отношении здесь имеются преимущества: служащие вошли в союз текстилей. Контакт налицо. Без дачки потерпеть соглашаются. Пряжу направим от Коновалова, хлопку возьмем у Каретникова, нефти пригоним из Кинешмы. Дело пойдет, мы верим в это.

ОРГАНИЗАЦИЯ ГУБЕРНСКОЙ ВЛАСТИ

29 января 1918 г.

Идет районный съезд Советов.

Мне на нем приходится присутствовать очень мало, ибо занят другой работой. Это с одной стороны, а с другой — лень какая-то одолела, апатия, усталость. Не хочется ничего делать, приниматься за что-нибудь большое. Готовлюсь к лекциям:

1) Торжество максимализма,

2) Парижская коммуна и Советы.

Но интенсивно в этой области не работаю. Рабочие волнуются с голоду, а тут еще подоспел декрет об отделении церкви... Попы агитируют массу в свою пользу и, надо сказать, весьма успешно. Днем пришлось уговаривать Гарелинских рабочих, а теперь, вот, экстренно уезжаю в Тейково, — там волнение, рабочие вышли, попы ведут свою черную работу. Положение становится грозным. Религию затрагивать надо очень осторожно.

30 января 1918 г.

В Тейково мы приехали глубокой ночью, был уже первый час. Я думал, что все кончено — не застали, мол, и баста. Оказалось, что народ ждал поезда. Когда подходили к театру, — в раскрытые форточки валил пар и было ясно, что

народу много. Театр был набит до крайности. «Приехал, приехали» — загудело по партеру и ярусам. Увидели Короткова — обрадовались. Некоторые, повидимому, узнали и меня. Коротков является здесь стержнем, на котором вертится вся политическая жизнь района. Его любят, ему верят.

Обстоятельства дела несложны.

Продовольственники перепились. Возник пожар где-то на чердаке, в воскресенье, в неприсутственный день. У рабочих явилось подозрение, что продовольственники пытаются в огне спалить свои грехи. Пожар остановили, книги спасли, пьяных посадили под арест. Начался обыск. Нашли одиннадцать пудов муки у мельника и мешок в самой управе. Не дремали и жандармы в рясах: они успешно распространяли самую гнусную клевету на советскую власть.

Настроение было грозное.

Через полчаса, однако, мы завладели аудиторией. Мы были беспощадны и резки, когда приходилось касаться попов или провокаторов. Настроение рабочих было переломлено, мы безраздельно владели умами и, главное, сердцами слушателей. Недоразумение было передано для разбирательства Совету. Наша победила.

*

Какой-то он скучный — районный съезд — мертвый, малочисленный. Болтовни, правда, не слышно, но нет и свежести, нет подъема, нет жажды и порыва к труду. Все вопросы разбирались скучно, равнодушно. Выбрали Исполнительный комитет губернии (Красной губернии) из двадцати человек. На плечи этим двадцати ложится огромная тяга ответственной работы. Видно, что все переутомились, что так долго продолжаться не может, что мы, пожалуй, можем не предучесть психологию усталых, измученных масс. Почти половина делегатов на съезд не явилось. Видно полное безразличие, сильное

переутомление. Все чаще и чаще наблюдаются сепаратные выступления, все чаще и чаще люди забираются на собственную колокольню и оттуда обозревают лишь собственные свои владения. Усиливается эгоизм, раздражение.

В своей среде то-и-дело начинают вспыхивать конфликты— плод неимоверно трудной работы.

31 января 1918 г.

Теперь рабочим уже не приходится «захватывать» фабрики, силою вводить там новое право, а волей-неволей они должны их брать. Приходится «принимать», а не «захватывать», принимать в истерзанном, искалеченном виде.

Нужны героические, неимоверные усилия для того, чтобы снова поставить промышленность на ноги; нужно приложить «максимум» усилий, чтобы дать возможность рабочим остаться при станках, не говоря уже о каком-либо улучшении, прогрессе и прочих радостях мирного процветания производства.

Фактически предприниматели всюду устранены от производства. Без разрешения фабричного комитета они не могут вывести со двора фабрики ни единого аршина товару; не могут взять в банке ни копейки денег. Эту постоянную «невозможность» они, разумеется, компенсируют с лихвой другою возможностью — возможностью мешать всечасно и всемерно налаживающейся работе фабричных комитетов, органов контроля и надзора, временных правлений и других органов, которые становятся во главе предприятия. За все эти мучительно-трудные месяцы революции не было случая, чтобы фабрикант или его верный пес обратился в Совет, как в высший орган, за советом или за справкой по поводу раздобывания нефти, угля, пряжи, хлопка, денег.

Они, разумеется, понимают, что при посредстве Советов можно все раздобыть, если только имеется желание добы-

вать, — и хлопок, и пряжу, и деньги. Понимают, и все-таки ничего не делают, оставаясь сторожевыми псами при своих потерянных конурах.

Они лишь торопятся прихватить с потерянных фабрик все, что попадет под руку и что возможно достать: берут все, не брезгуют ничем.

Промахнулся фабричный комитет, — они тотчас же получат деньги за проданный товар, и сию же минуту «уплатят» им «по счетам». Что это за счета, кому и когда они писаны, этого разобрать никак невозможно, хотя и принесут тебе целую кипу всевозможных оправдательных бумаг.

В предприятие, на нужды его, не попадет из этих денег ни единой копейки. Все деньги целиком опускаются в бездонный карман перепуганного хозяина.

Если имеется возможность запретить ввоз на фабрику сырья и топлива, — этой возможностью воспользуются сию же минуту.

На фабрику, бывшую Коновалова, было привезено и стояло уже на станции Вичуга несколько вагонов хлопка.

Экс-министр Коновалов, видя, что дело после Октября сложилось худо, каким-то образом через свое правление дал «приказ» начальнику станции Вичуга — хлопок на фабрику со станции не выпускать.

Так продолжалось несколько дней, пока не узнал об этом Райсовет.

Если требуется оставить фабрику без нефти, — они оставляют без всякого колебания. «Наша» ткацкая мануфактура проглатывает в месяц около сорока тысяч пудов нефти, а ее оставили, было, ни с чем, не снабдив в нужное время деньгами, не позаботившись о своевременной доставке нефти на фабрику.

Да что говорить. Какие тут еще нужны факты, когда совершенно не имеется фактов обратного свойства, т. е. фак-

тов, свидетельствующих хотя бы о минимальной заботливости цепного пса о своей конуре.

Это введение необходимо для уяснения причин разрушения такой первоклассной фабрики, какою является фабрика Товарищества ткацкой мануфактуры.

Это огромная фабрика, на которой около семидесяти тысяч веретен, две тысячи сто восемьдесят три станка, пять тысяч восемнадцать человек рабочих. Хлопка требуется ежемесячно восемнадцать тысяч пятьсот пудов, нефти около сорока тысяч пудов, денег на жалованье 1 300 000 руб.

Работают в две смены; пряжи вырабатывают в месяц пятнадцать тысяч пятьсот пудов.

Но теперь выработка пряжи прекратилась за недостатком хлопка. Прядильня стала.

Через два дня станет и ткацкая.

Хлопка имеется всего около тысячи пудов. Нефти закуплено, но еще не доставлено сорок пять тысяч пудов. Денег с интендантства за проданный товар следует получить 1 200 000 рублей, да из Москвы по счетам 320 000 рублей.

Если нефти нехватит, — котлы можно в три-пять дней передать под угольное отопление, а в десять-тринадцать дней — под дровяное. «Были бы деньги», говорят правленцы, «с деньгами мы все бы достали. А вот с пустыми-то карманами долго не проскачешь. Нам хлопка предлагали, но предлагали за наличные. Взять было негде и пришлось отказать.

Обошли мы все корпуса, все отделения, — осталось впечатление могучей, здоровой, жизнеспособной громады, которую, подкармливая понемножку, можно сохранить на десятки лет. Станки, машины — все это чистое, твердое, надежное. В самом здании, — не в пример другим фабрикам, — и светло и чисто. А дело все-таки останавливается.

И ясно, что в этой остановке «хозяйственная разруха

страны», «убийственный транспорт» и прочее — повинны только наполовину.

Фабриканты на фабрику не показывались и на запросы и приглашения отвечали глубоким молчанием.

18 января пришлось избрать новое правление взамен фабрикантского. Это правление и повело все дело. Фабриканты явились на следующий день, 19-го, но было уже поздно, — им пришлось повертывать оглобли и отправляться во-свояси.

Вот какую резолюцию мы приняли и подписали после осмотра фабрики:

«Комиссия по обследованию фабрики Товарищества Иваново-Вознесенской ткацкой мануфактуры в составе командированных эмиссаром Народного комиссариата Назаровым — тт. Янова и Долгова; представителя Ив. Кинешемского районного комиссариата труда т. Лаврентьева; районного комиссариата промышленности тт. Фурманова и Репьева и Ивановского районного бюро фабрично-заводских комитетов т. Шарова — всесторонне обследовала состояние фабрики и складов товарищества, причем выяснилось, что с июля месяца администрация фабрики прекратила почти всякую заботу о снабжении фабрики топливом и сырьем.

Главным образом, заботами и хлопотами фабричного комитета, как непосредственно, так и давлением на администрацию, работа на фабрике продолжалась.

В частности, с ноября фабрика продолжала работать исключительно трудами фабричного комитета.

В настоящее время за полным отсутствием сырья прядильная приостановила работы; в ближайшие же дни и ткацкое отделение вынуждено будет стать.

В течение последних лет товары, вырабатываемые на фабрике, сдавались по цене себестоимости одному из главных пайщиков товарищества: Товариществу мануфактур П. Вито-

вой и сыновья, благодаря чему создавалась фиктивная бездоходность предприятия, а в настоящее время и дефицит.

Поэтому комиссия полагает, что необходимо немедленно национализировать фабрику Товарищества Иваново-Вознесенской ткацкой мануфактуры, при условии одновременного субсидирования предприятия в размере 4 000 000 рублей».

Такова наша резолюция.

Ходили мы по фабрике часа три-четыре. Осмотрели все отделения, чувствовали себя при обходе на положении министров, а знали и понимали немного больше рабочих, а в иных случаях и значительно меньше. Контора заготовила все нужные сведения, сотворила свои отчеты и наделила нас мертвыми цифрами.

Отчет имеется у меня особо.

Сведения повезли народным комиссарам.

В ближайшие дни вопрос, повидимому, должен разрешиться окончательно.

17 (4) февраля 1918 г.

Недавно пришлось исключить из группы двух членов.

Собственно говоря, членом был только Андрей Козлов; другой, Федоров, числился только кандидатом. А. Козлов всем нам показался «оппортунистом», ибо по многим вопросам, возникавшим за последнее время (главным образом по вопросу о терроре, репрессиях, смелости и решительности действий) показал себя крайне уступчивым и трусливым. Собрались мы, посоветовались, — оказалось, что и на собраниях-то он не был уже раза четыре, — и, скрепя сердце, порешили исключить из группы.

А. Козлов еще летом вышел вместе с нами из организации социалистов-революционеров.

Первое время посещал заседания наши довольно исправно; но за последнее время начал определенно хромать; как ви-

дится, пострусил и назвал себя «левым социалистом-революционером». Исключили.

Кандидата Федорова исключили, главным образом, за то, что всей группе он пришелся не по сердцу своей интеллигентской склизкостью, тягучестью и половинчатостью.

Когда он начинал говорить, подымалось харканье, поплевыванье, хождение и т. д. Всем делалось невыносимо тошно. Подыскали формальный предлог:

1) Вы не имели права на опросной карточке рабочего клуба писать: «член группы максималистов».

2) Три дня назад вы вошли в комитет и сразу кинулись к шкафу со словами: где бомбы. Какое вам дело, где они? Вы не член и об этом не должны говорить, особенно в подобной форме.

Исключили.

Всего теперь в группе осталось двадцать четыре члена и шесть кандидатов.

Повидимому, членами следовало бы дорожить, но мы держимся на этот счет иного взгляда: исключаем и будем исключать безжалостно.

За последние две недели вступило четыре новых члена и четыре кандидата.

Для нас, при нашей строгости приема, — это весьма значительный прирост. Прием производится таким образом:

Пришли, например, сегодня супруги Черняковы — старые максималисты, работавшие еще в прошлую революцию. Прослушали «Политическую экономию», прослушали один частный вопрос и были высланы за дверь. Товарищи вполне откровенно высказывали свои соображения, припоминали, что знают о них по прошлой работе.

Выяснилось определенно, что оба они люди «свои», что принять можно с уверенностью. Приняли. А относительно

других, которые еще не внушают такого полного доверия, ограничиваемся «кандидатством» на неопределенное время, пока не убедимся, что знает как следует программу; уяснил себе формы тактических приемов; докажет, что смел, прям и решителен, что «наш» во истину. Тогда примем.

Эта строгость приема спасает нас от многих осложнений и неприятностей.

Теперь по городу идет слух, что у максималистов пятьдесят пулеметов, бомбы, много всякого оружия.

Перепугалось трусливое стадо мещан и притихло. Откуда-то знают, что обучаемся военному делу.

Три дня сряду занимаемся группой часа по два с инструкторами-солдатами. Один, Михеич, особенно потешен. Длинноносый с широкими утиными ноздрями, чахоточно-бледный, подпоясанный вервием и глотающий слова — он пытается, не взирая на немощь, представиться суровым воякой.

— Сме. . .е. . .е. . .рно.

Тишина. Только-что болтавшие соседи застывают словно истуканы. На лицах закаменело внимание к выкрикам бравого «инерала».

— Кру. . . . . . .гом.

Все повертываются на 180°.

«Инерал» доволен.

— Сичас будем пальбу разучать. . . Эта вот стена к примеру буржуи. Буржуй может подойти и спереди и сзади. В строю говорить не полагается, потому что навсегда буржуй может сзади подойти, а мы тут разговариваем. Вот и крышка. Некогда тут растабарывать, слушать надо. . .

— Пальба по буржую. . . Рота. . .

Все вскинули винтовки, взвели курки, замерли:

— Пли. . .

Застучали курки, снова винтовки под мышкой; снова раздается знакомая команда «инерала»:

— Рота... пли...

Так за ученьем проходит часа два. Занимаются с нами и девушки-максималистки. Их три. В местной красной гвардии их две.

Одна ездила с отрядом, застрявшим в Москве, против Каледина на Дон.

Занятия идут дружно. Через несколько дней мы в полной боевой готовности.

На следующем собрании кончаем «Политическую экономию». Остался последний отдел «Социалистическое общество».

Дальнейшие занятия я представляю себе еще довольно неясно.

Повидимому, будем читать отдельные брошюры по максимализму и анархизму; отдельные главы из «Общественного движения в России в начале XX в.», беседовать по вопросам и задачам текущего момента.

Если бы я не видел такого ревностного и любовного отношения к делу, какое вижу, — давно оставил бы растрачиванье времени для десяти-пятнадцати исправно собирающихся товарищей. Но, во-первых, верно, что и они в конце концов направятся; во-вторых, «уча-учимся», а мне это, разумеется, важно. Рабочие все остались со мною и к делу относятся любовно, а вот относительно «дряблых» — дело обстоит иначе.

Из трех служащих одного исключили и двое не посещают. Интеллигента, реалиста, исключили. Для этих категорий партийная работа интересна лишь в первые дни, пока идет организационная горячка, пока они увлечены, сами не понимая чем. А когда приходится работать — они в сторону: тут сухо, скучно, стеснительно, робко и опасно. Остаются одни рабочие и мы, любившие их вне всяких движений и положений. За это они ценят нас вдвое. Благодаря этому, мы работаем для них втрое.

23 (10) февраля 1918 г.

Первое пленарное собрание губисполкома было 18 (5) с. м. Из тридцати званых собралось около двадцати. Потому «около», что некоторые «здешние» приходили и уходили по разным делам.

Председателем собрания был избран Фрунзе. Это удивительный человек. Я проникнут к нему глубочайшей симпатией. Большой ум сочетался в нем с детской наивностью взора, движений, отдельных вопросов. Взгляд — неизменно умен: даже во время улыбки, веселье заслоняется умом. Все слова — просты, точны и ясны; речи — коротки, нужны и содержательны; мысли — понятны, глубоки и продуманы; решения — смелы и сильны; доказательства — убедительны и тверды. С ним легко. Когда Фрунзе за председательским столом, — значит, что-нибудь будет сделано большое и хорошее. Быть может, Губисполком и не сделал много хорошего, но без Фрунзе не было бы и того, что сделано.

На двух предварительных к пленарному заседаниях были распределены доклады между членами Райсовета и нового Губисполкома. В пленарном заседании доклады были заслушаны, обсуждены и приняты с некоторыми поправками. Прения были оживленны. С глубоким интересом, вниманием и усердием следили мы за претворением в дело наших собственных мыслей. Когда вот так сойдешься, коллективно обсудишь и зафиксируешь основные тезисы, уяснишь план работы, — словно гора с плеч сваливается, окрыляешься как-то, чувствуешь, что руки стали крепче, грудь просторнее, а голова светлее. Таково именно действие подобных «деловых» собраний. Пустословия на этот раз не было к нашей чести. Правда, тут не только «наша честь», а и уменье руководить у Фрунзе. Без него было бы нечто иное, может быть, не на много, но — худшее.

Мне было поручено сделать доклад по просвещению.

Губисполком состоит из комиссариатов с комиссарами, членами Губисполкома, во главе. По этому подобию будет организован и комиссариат просвещения. Но «просвещение» в широком смысле нам теперь еще не по силам, да и не ко времени. Я больше освещал, поэтому, работу чисто культурно-просветительную среди рабочих и крестьянских масс; вечерние курсы, лекции, беседы, библиотеки, распространение газет, популярных брошюр, — вот на первое время наша работа. Большего не сделаем. Реорганизация школ и принятие под свое крыло школ средних практически пока не даст больших результатов.

Ясного плана конструкции комиссариата не имею. Повидимому, он создастся в процессе работы.

☆

Третий раз переживаю я это состояние военной горячки, тревоги, нервного подъема. Первый раз — в конце августа, в корниловщину, во второй раз — в Октябрьский переворот, во дни керенщины и третий раз — теперь.

Экстренно собрался Исполнительный комитет.

Спешно надо мобилизовать силы, учиться стрельбе, организовываться самим.

Германия продвигает свои полчища все дальше и дальше. Есть сведения, что взят Минск. Имеются сведения об угрозе Красному Петербургу. В Москве пальба. Кто стреляет, в кого, по какому поводу, точно пока неизвестно. Бологое захвачено пленными немцами и австрийскими офицерами.

В Москве пленные офицеры посажены под арест; у нас они также содержатся под стражей. Черная сотня поднимает голову. Эсеры и меньшевики еще пуще кричат про Учредительное собрание; директора фабрик, спекулянты и разная иная

прелесть все увереннее заявляют: а вот погодите еще несколько дней... Больше недели не процарствуете...

Много тут лжи, провокации, отголоски перепуга и воображения. Все есть, но основа дела несомненно такова, что опасаться есть чего, — гроза надвигается. И эта гроза как-то гуще, чернее тех, что встречали мы раньше.

Вчера рабочие Полушина и Бурылина (а по слухам и Куваева) настойчиво — вплоть до угрозы разгромом — требовали разрешения на коллективную закупку хлеба и на вывоз мануфактуры со своих фабрик как компенсацию за хлеб. Фабричные комитеты не только не оказывают должного сопротивления, а, наоборот, потакают массе и ничуть не пытаются поднять или удержать престиж Совета. Рабочие угрожали подойти к продуправе, а в случае неудовлетворения требований, остановить работу всех фабрик. Смягчающим для комитетов является то обстоятельство, что у местного Совета имеется неотмененным постановление (недели три назад) о разрешении свободных коллективных закупок отдельным фабрикам. Комитетские делегаты и упирали на это постановление. А некоторые члены фабричного комитета даже заявили, что не стали бы и требовать, если бы весь Совет (а не Исполнительный комитет) отменил это постановление. Но факт остается фактом. Больших трудов стоило уговорить рабочих обождать до 10 час. утра следующего дня, ибо на сегодня созывается экстренное совещание специально по вопросу о коллективных закупках. На совещание явились: представитель райпродуправы (ныне продовольственного отдела при Губисполкоме), сам Губисполком, самоуправление, местный Исполком.

Сидели часов пять, до глубокой ночи. Говорили коротко, болтовни не было. Все пять часов шел исключительно деловой, практический разговор (вообще болтовни за последнее время стало меньше). Были высказаны взгляды и сообра-

жения pro и contro. В конце концов, как на компромиссе, остановились на решении выдать соответствующее разрешение от местного Исполкома, обходя губернскую власть.

Только-что покончили с этим делом, как наутро одна за другою стали поступать тревожные вести. Экстренно собрались. Выяснилось, что к бою мы не готовы. Лучше сказать, — готовы только наполовину; выяснилось, что члены Исполнительного комитета не умеют взять в руки винтовку, что надо срочно обучаться, не откладывая ни единого дня; что милиция совершенно не доверяет своему начальнику. Имеющийся отряд конной милиции надежнее. Красноармейцев всего человек пятьдесят. Красногвардейцев — около двухсот пятидесяти. Остатков гарнизона — около восьмисот человек. Решили создать коллегию из представителей этих четырех отрядов, плюс четыре члена местного Исполкома, плюс прдседатель коллегии, выбираемый Исполкомом. Коллегия находится в распоряжении Исполкома. Создали коллегию и стало как-то легче.

Завтра выйдет составленное мною воззвание, где выясняется сущность переживаемого момента.

Снова знакомая тревога... Только и слышно: арест, револьверы, оружие, патроны, репрессии, автомобиль, захват...

Лица вокруг — все те же, с которыми работал в предыдущих революционных комитетах. Ждем грозу готовые к бою. Духом бодры, сильны и тверды. Опасность сплотила нас еще теснее.

28 февраля 1918 г.

25-го было экстренное, внеочередное заседание Совета. Обсуждался вопрос о войне и мире. Собрание было закрытое, публику удалили. Два эсера, заядлые оборонцы, внезапно высунулись из толпы рабочих и предъявили какие-то удостоверения.

Наши эсеры до сих пор галдят за Учредительное собрание, за Керенского, за свое излюбленное примирение и соглашение. Советы они ненавидят, хотя и притворяются иногда непротивленцами. Народных комиссаров считают — как и вся мещанская тина — захватчиками и разбойниками. В Советах они с нами не работают уже в течение многих месяцев. Кажется, все с ними было порвано, а тут, вдруг — пожалуйте бриться. Свалились, как снег на голову. Меня возмутила эта подлость и лицемерие. Когда мы изнывали от непосильной работы, когда мы готовы были перестреляться от переутомления, они стояли сложа руки в стороне, смеялись, глумились, проклинали, плевали на нас. Теперь же, когда мы, усталые, собрались, быть может, в предпоследний раз, чтоб решить, которая смерть славнее и нужнее великому делу — на фронте или здесь, — когда мы, еще теснее объединенные грозной опасностью, хотим, быть может, в последний раз поговорить о своих победах, о своих завоеваниях, а на завтра выступить в неравный, опасный бой с полчищами германских белогвардейцев, — теперь они, как крысы, прокрались к нам сюда, в наше святилище, прокрались, чтобы подслушать, подсмотреть, «собрать материал», чтобы потом бросить нам в лицо неизбежные ошибки и на этих ошибках утверждать свою подлую клевету. Я первый восстал против присутствия этих лицемеров в нашем святилище — Совете.

Поднялись горячие прения. Соглашатели поднялись за эсеров. Но ясно уже было, что живая речь проникла глубоко в душу рабочим Совета и решение их можно было предусмотреть. Эсеры заметались, зашуршали бумажками, что-то пытались доказать, в чем-то хотели убедить. Все было тщетно: рабочие с позором прогнали их с советского заседания, заявив, что здесь им не место, что мы принимаем в

свою среду и критиков, но критиков, способствующих советской работе.

*

«Социал-демократ» сообщил, что в первый же день, лишь только кликнули клич, в Петербурге записалось красноармейцев свыше пятидесяти тысяч человек. Я очень высоко ставлю отвагу и беззаветную преданность революции петербургского пролетариата, но все-таки на сей раз усумнился, да и по сие время не могу никак поверить сообщенному сведению. Я сужу по тому, что перед глазами, сужу по аналогии. Я удваиваю, утраиваю, удесятеряю цифры в пользу петербургского пролетариата, и все-таки ничего не получается. В Родниках, где слушали меня тысячи и тысячи рабочих, где работает свыше одиннадцати тысяч человек, в Красную армию пока записалось всего шесть человек, да и те были отосланы записываться кто в Иваново, кто в Кинешму. У нас в Иванове, в революционном гнезде, насчитывающем свыше сорока тысяч рабочих, пока записалось всего... семьдесят человек. Сознайтесь, что это мало, даже очень и очень мало. Так сказать «несоответственно».

А при том:

1) У Маракушева рабочие покрикивают за Учредительное собрание.

2) У Фокина, Грязнова и на заводе механических изделий (а вероятно и всюду) пришедшие с фронта солдаты (кстати сказать, элемент крайне ненадежный), заявляют, что никуда дальше своего города не пойдут, что мотаться по белу свету им надоело, что здесь, на месте, они будут с оружием в руках отстаивать свои завоевания.

3) На остальных фабриках рабочие отнеслись к призыву пассивно.

Все утомились, изголодались, обессилили.

Совет принял постановление:

«Весь совет без исключения, в том числе и Исполнительный комитет, становится под ружье и с завтрашнего дня начинает военное обучение».

На «завтра», т. е. на 28-ое, было назначено первое заседание Революционного трибунала, так что обучение не состоялось. К слову сказать, уличенного спекулянта Кузнецова присудили к 100 000 руб. штрафа и к шести месяцам принудительных работ.

*

На прошлом собрании максималистской группы мы закончили политическую экономию. Она как-то склеивала наши собрания, нашу работу. Надо было чем-нибудь ее заменить. Сегодня приняли такой план дальнейших работ:

Изучить народнические партии: эсеровскую, максималистскую, потом эсдековскую, кадетскую, правые партии. Читать об анархизме. Беседовать по текущему моменту, не говоря уже о текущих комитетских делах и вопросах.

Наши газеты из Питера приходят к нам с большим опозданием. С громадным трудом приходится распространять их среди рабочих, никто не берет, говорят — слишком стары. И все-таки ежедневно распространяли до двухсот штук, а иногда и больше. Каждый из нас берет по десять-двадцать штук и во что бы то ни стало обязывается их распространить. Денег теперь у нас имеется около 3 500 рублей. От последнего вечера осталось свыше 1 500 рублей, благо не отдали мы никаких налогов — ни городских, ни военных.

Товарищи посещают группу исправно два раза в неделю.

Некоторые из членов берут взаимообразно из нашей комитетской кассы и вообще чувствуют, что это свое, родное, что тут можно спросить, не унижаясь.

Продолжается обучение военному строю и пальбе.

Настроение в высшей степени твердое и уверенное. Почти все подумывают об отправке против германских белогвардейцев; удерживает лишь огромная работа по совету и фабричным комитетам.

Мы спешно обучаемся военному строю и пальбе. На-днях местный Исполнительный комитет передал в наше распоряжение пятнадцать винтовок и тысячу патрон, — это кроме прибывших ранее из Москвы. Два дня назад изучили строение и способ метания гранат. На-днях т. Баталин принес три револьвера, которые были тотчас же розданы товарищам. Сегодня из групповых денег даю 500 рублей на браунинг и наган. Это лишь для приманки. Узнаем, где хранятся и устроим экспроприацию. Кто-то откуда-то привез оружие и спекулирует. Накрыть требуется непременно.

Вчера обсуждали вопрос о выступлении особым партизанским отрядом. Внешние условия таковы: в самую важную минуту, когда единодушный призыв мог зажечь энтузиазм, пламя было затушено в зародыше призывом к замирению такого великого борца, как Ленин. Дело было безнадежно испорчено. Массу, успокоившуюся на этом призыве, сдвинуть было никак невозможно. И у себя на месте, по опросу, мы видели, что вернувшиеся с фронта солдаты берутся защищать революцию только «здесь, на месте». Рабочие на призыв отзываются вяло и не записываются в красные ряды. У Куваева, например, согласился итти «весь» фабричный комитет. Пока собирались, пять человек отказались, а когда собрались, отказалось еще десять, и осталось только десять коммунистов, да десять беспартийных. А куваевцы ведь передовой авангард даже в нашем городе; там своих фабричных красногвардейцев около восьмидесяти человек. Чего же ждать с других мест? Лично я подъема не жду, — он был задушен первоначальным расколом. Теперь идут с мест крошечные группы советских работников, членов союзов, комитетов, партийные

вожди. А масса молчит. Без нее мы одни ничего не сделаем. Погибнем бесполезно и немедленно, ибо нас очень и очень мало. 12-го съезд Советов — он скажет свое вещее слово. Спешно обучаемся, чтобы во-время быть готовыми к отправке, в которую верим мало и которая звучит действительно «революционной фразой». Массы жестоко устали.

6 марта 1918 г.

На первом же заседании пленума губернского Исполнительного комитета Ив. Вас. Беляев был назначен комиссаром промышленности. Человек огромной энергии, незаурядных способностей, большой душевной чистоты, — он привлекал сердечностью обращения и содержательностью разговора. С ним чувствуешь себя как-то особенно легко и уверенно. Теперь, неделю назад, мы командировали его за 30 000 000 рублей в Петербург. Сегодня получена от Малютина телеграмма: «5 марта в девять часов вечера дорогой Ив. Вас. Беляев кончил жизнь самоубийством...» Бедняга не вынес мучений страшной пытки от сознания безвыходности положения, — пытки, которая терзает каждого из нас. К трагическому концу привела последняя весть об эвакуации Петербурга.

«Следовательно, денег скоро не получу... Рабочие волнуются, бунтуют... И все по моей вине...»

Эта мысль была непереносима для него — о ней сообщает и Малютин. Отправляясь в путь, Ив. Вас. говорил нам, что мозги его не в порядке, что следовало бы немного передохнуть, что скоро, может быть, придется итти в желтый дом. Только не в желтый дом ушел дорогой товарищ, — в могилу. Мы лишились прекрасного работника, хорошего товарища, крупного революционера. Его смерть сильно отразится на работе комиссариата промышленности. Мы повинны в его

смерти, ибо не учли его измученности, не поверили тому, что он стоит на грани. Он просился в Красную армию, — мы не пустили; просился в больницу, — не пустили. Сказали, что должен ехать, — и он поехал. Революционная дисциплина осилила личные его побуждения и устремления.

Эта жертва лишний раз должна показать нам, как напряженно теперь всем надо работать, как делить меж собой тяжелый труд. Взвалили, вот, человеку на плечи непосильную тягу, — и раньше времени ушел он в могилу. А мог бы работать, сильно, крепко мог бы работать человек. Раз он уже лежал в больнице. Только мало. Душа его не терпела больничного покоя, рвалась в самую жаркую работу. И вот венец: самоубийство, — знамение слабости. Значит, большую тягу нес человек, когда — большой и сильный — принял долю маленьких и слабых.

9 марта 1918 г.

Чтобы работать достойным образом в Совете, надо быть универсальным человеком. Мы этот универсализм часто заменяем смелостью, — смелостью решений «по здравому смыслу». Приносит, к примеру, конторщик мне на-показ и на утверждение цены товаров, имеющихся в образцах:

— Как вы полагаете, подойдут эти цены или нет?

— А их кто проставил?

— Николай Трофимович Бубнов.

— Так... Ну-ка, покажите...

Да... вот этот хорош, низко проставлен (надбавляю 1 — 2 коп.). А на этот чего уж он перехватил больно — тут и рубля девятнадцати довольно... (прежде стояло 1 руб. 20 коп.). Авторитет сохранен. Принесший соглашается с моими новыми расценками, уходит удовлетворенный и потом сообщает соседу по столу:

— Откуда только у него такие познания? По всем отраслям работает...

Да, жизнь заставляет быть универсальным. Вся текущая работа Губернского Исполнительного комитета возложена на одного меня. Пряжи, ткань, суровье, уголь, финансы, конфликты, кража, дела бракоразводные, школьные, церковные — все это разрешается у этого, вот, дубового стола, где сидит т. Фурманов. И люди уходят успокоенные, удовлетворенные. А сам я, вероятно чаще их, неудовлетворен своими решениями. Мне за них часто неловко перед самим собою. Нередко я их стыжусь сообщить хотя бы такому строгому критику, как т. Любимов. Нередко я даю распоряжения почти шопотом. Но это все в частности, а в целом большая уверенность, успокаивающая твердость и определенность ответов. Ни одна из областей не налажена как следует. Выпускать ли, положим, мануфактуру багажом? Общее постановление: нет, не выпускать. Но теперь ведь таково положение, что, во-первых, железная дорога не принимает погрузку, во-вторых, — если и примет, то за целость груза не отвечает. У этого вот мужика всего двадцать — двадцать пять кусков, а везти ему надо к чорту на кулички, чуть не под Гималайский хребет. Если приедет пустой, — будет нахлобучка и всеобщее презрение, а если, не приведи бог, пропадет мануфактура, — тогда поминай, как звали: окрещенный вором и расточителем — спасайся лучше, куда очи смотрят. Вот положение: никаких гарантий того, что мануфактура прибудет на место, никто вам за нее не ответит, никто не будет знать, куда она переправлена, где «затерялась», как теперь обычно выражаются о тех вещах, что украдены минуту назад почти у всех на глазах. У мужика открытое, простое, честное лицо. А у этого вот, что стоит рядом с такою же бумагой и с целою кипой удостоверений, заявлений, рекомендаций и прочего хламу, — у этого рожа самая отвратительная, безза-

стенчиво хищная, тупая, но хитрая и пронырливая, свидетельствующая о большой будничной ловкости и больших спекулятивных способностях. За долгие месяцы мы привыкли различать почти без ошибки спекулянтов, грабителей всех цветов и оттенков. Он ежится, упрашивает, доказывает что-то, в чем-то оправдывается, хотя его никто ни в чем не упрекал. Встает вопрос: если позволить мужику-землеробу вывезти ситец багажом, — почему, на каких основаниях отказать тогда этому явному спекулянту и негодяю? По аналогии дел придется давать разрешение и ему. Обычно даешь не сразу. Первоначально справляешься и просматриваешь все документы, расспрашиваешь: куда, что, кому и зачем... Когда все прощупаешь — отказываешь и сообщаешь о вредности пересылки багажом... Это, разумеется, совершенно не действует. Мужик тебя сшибает с ног своими могучими доводами, окончательно выясняет всю бесполезность покупки, если только товар не будет выдан на-руки. Происходит небольшая заминка, молчание, как будто колебание. В подобные моменты, чтобы колебание склонить в свою сторону, — по всей видимости должна даваться взятка: это самый важный момент. У меня случая предложения взятки еще не было, а жаль — упек бы я его, мерзавца, куда следует. Одного негодяя, предложившего взятку т. Кадынову, я уже посадил. Между прочим, скажу два слова и по этому поводу. Кто теперь может сажать? Кто освобождает и кто отвечает и перед кем отвечает за свою ошибку? Вот я, Дмитрий Андр. Фурманов, вызвал двоих красногвардейцев, «приказал» отвести негодяя в тюрьму и баста. Сидит он день, сидит два-три, наконец, вызвали, допросили, опять посадили. Знает об этом начальник милиции, знает Исполнительный комитет и никто ни словом не заикнется о справедливости или несправедливости моего поступка. Если бы я его застрелил (а я немного не застрелил,

когда увидел у него на столе печать Районного Совета) — и тогда меня едва ли бы к чему-либо присудили. Вот наше право: брать негодяев живыми, не церемонясь долго, не разбираясь в тонкостях мертвых законов. С таким же успехом мог его посадить и любой член Исполнительного комитета, а, пожалуй, и не только Исполнительного комитета, а и Красной гвардии, Красной армии, бюро фабзавкомов, профессионального союза... — словом, кому только не лень из тех, кто работает бок-о-бок с Советом. Это случай маленький и частный, но, вообще говоря, — мы ни за что ни перед кем не отвечаем. С нами сознание права и с нами вооруженная сила. Мы отвечаем только перед своей собственной совестью. Приносят для утверждения книги, положим от Бурылина, там фигурируют сотни тысяч рублей, там нет подписи председателя фабзавкома — ничего, товарищ председатель у меня же на глазах подмахивает подпись своими кривулями. Все эти цифры, разумеется, следовало бы проверить, кому-то предварительно сдать на просмотр и т. д., но нам некогда, а главное некогда и бурылинским рабочим. Через минуту красуется «заверение в подлинности приводимых данных». Тут и печать Губернского Исполкома, тут и нужные подписи. Вообще в нашей работе пока «хаоса бытность довременна».

Теперь расширяются комиссариаты. Требуются сотрудники «с рекомендациями общественных организаций или партий». А вот эти два экс-офицера, что приняты вчера в мануфактурный отдел, не имеют никаких рекомендаций, никто не знает, кто они такие. Вообще наблюдается некоторое засорение Совета, неразборчивость в смысле набора штата служащих. Предложение труда огромно. Много интеллигентов соглашается принять любую работу, лишь бы иметь какой-нибудь заработок. Это обстоятельство, — наплыв чужих лиц в Совет, меня весьма удручает и очень бес-

покоит. Удручает потому, что утверждает нашу «пролетарскую» беспомощность, беспокоит потому, что я подозреваю некий адский план буржуазии — взорвать Совет изнутри.

14 марта 1918 г.

Комиссариат просвещения организовать поручено мне. Поручить поручили, а на работу не пускают. Зарядили меня в президиум и утопили в текущей работе. Организовать комиссариат, таким образом, нет совершенно времени. Все-таки кое-что, между делом, я стараюсь подготовить. Приглашено несколько сотрудников: Фролова, Мекш, Сазонов... Мы собирались два раза и кое-что пообдумали. Выходит так, что работать все-таки некому и посему сразу раздвигать работу в губернском масштабе не придется. Раза три-четыре помещал я публикацию о том, что в комиссариат просвещения требуются, де, ответственные руководители по отделам дошкольному, школьному, внешкольному... «Но руководители не являются, приходят мальчуганы, ученики, годов по восемнадцати: им, разумеется, одним делать тут нечего. Мы все-таки кое-что наметили, распределили работу. Школьный отдел взял Мекш, внешкольный — Фролова, дошкольный — Сазонов.

На мне лежит общее руководство работой. Мы решили следующее:

1) Комиссариат организовать из социалистов, но не по принципу партийности, а по деловитости, по способностям и знаниям, по любви и преданности делу, по взглядам на трудовую массу.

2) Не увлекаться широкими планами, ибо нет работников, денег и условий для мирной, углубленной работы. Надо сразу встать на твердые ноги. Совершить что-нибудь кон-

кретное. Открыть университет (?), курсы, хорошую библиотеку.

3) Работу сосредоточить, главным образом, в Иванове, опять-таки в целях экономии наших малых сил. По аналогии можно создавать просветительные центры и в других городах нашей губернии.

4) Созвать городскую конференцию и выяснить нужды учительства и учащихся, — нужды школы. Выяснить окончательно физиономию учительства, дабы знать, до какой грани мы будем итти вместе и где разойдемся. На этой конференции должна быть представлена не только школа. Будут родители, ученики, представители общественных организаций, культурно-просветительных обществ.

На-днях мы выяснили, что у некоторых организаций лежат недвижимо десятки тысяч рублей, отчисленных на просветительную работу. Их необходимо пустить в дело. На постоянную работу соглашается только Фролова, но она, к сожалению, лишь болтушка, второстепенная работница. Людьми комиссариат пока что очень беден. Мы собирались два раза. На следующем собрании каждый представит план работ по своему отделу и приблизительную смету расходов на первое время (только по Иваново-Вознесенску).

Как выясняется, — учительство косно, индифферентно и низко по развитию. Учителя низших школ (главным образом, учительницы) на собраниях присутствуют лишь при обсуждении вопросов о прибавках, улучшении санитарных и гигиенических условий и проч. С вопросов педагогического характера одна за другой исчезают. С такими работать будет трудно.

На конференции мы выступим с докладами. Намечается около пяти докладов по всем вопросам. Конференция даст материал. Мы его пережуем и порешим, как быть дальше.

22 марта 1918 г.

Комиссариат просвещения, разумеется, до сих пор не организован. Поручили дело мне, а из президиума не выпускают. И, вместо просвещения народного, приходится ведать пряжей, финансами, пропусками, разрешениями, конфликтами и проч. Устраиваем мы по одному, по два собрания в неделю, но все это товарищеские беседы — и только. Ничего мы не предпринимаем, ни к чему не приступаем. К последнему заседанию следовало представить свои соображения относительно постановки дела в Иванове. Арсений дал очерк предстоящей работы по дошкольному образованию, а т. Фролова и Мекш промолчали, — им было поручено сделать доклады по внешкольному и школьному делу. Они ничего не собрали, ничего не приготовили. Из слов т. Мекш для меня было ясно одно: учителя начальных училищ к советской организации симпатий никаких не имеют. Разумеется, они почти всему подчинятся, ибо они не герои, да и бедны суть, но с душой работать вместе с нами все-таки не будут.

Ни у кого из нас не имеется конкретного, более или менее отчетливого плана предстоящей работы в губернском масштабе. Относительно работы в Иванове Арсений, например, мыслит, правда, отчетливо, но к проведению плана в жизнь приступить пока невозможно, ибо совершенно нет денег.

Отсутствие денег является общим препятствием во всех областях. Надежд на получение не имеется; помощи ждать неоткуда; рабочих раскачать трудно, ибо сами они сидят по месяцу, по два почти без копейки. Например, сегодня делегат из Кохмы сообщил, что рабочие плачут и угрожают Совету, ибо не на что им даже выкупить те два фунта муки, что выдают теперь через кооператив. Нужда смертная.

Комиссариат просвещения сядет на мель. А организовывать его следовало бы теперь же, ибо уже начинают поступать разные бумаги из учебных заведений, приходят служители, казначеи школьные, канцеляристы и проч. Нет времени. Нет денег.

На-днях категорически откажусь от работы в президиуме и займусь своим делом. Поеду в Москву. Надо хоть с кем-нибудь поговорить, посоветоваться, узнать, что уже имеется и что предполагается устроить: может быть уже имеются определенные планы предстоящих работ — все надо узнать, я ведь ничего не знаю, даже и декретов-то по народному просвещению не помню. А их накопилось, вероятно, порядочно. Не мало, вероятно, в них противоречий; надо все собрать, рассмотреть, скомбинировать, скоординировать. По вопросу о конференции решено было посоветоваться с лицами, работающими по просвещению при местном Совете и самоуправлении.

О средствах придется поговорить с Правлением профессиональных союзов, Советом, Союзом кооперативов.

Необходимо будет позаботиться о зданиях для начальных школ, ибо ребятишки живут и учатся бог знает в каких условиях.

Придется занять несколько фабрикантских домов.

Надо бы озаботиться и относительно трудовых колоний, яслей, приютов и проч.

Близ города пустуют хорошие имения, — их можно будет взять на лето для детей. Много кое-чего следовало бы делать теперь же, но делать невозможно. Да и не верю я, что смогу успокоиться на таком тихом, не политическом деле. Меня захватила, не отпускает, да и не отпустит скоро чисто политическая, массовая работа. До школ, до обучения, до всего вообще, что так дорого было мне до революции, — до всего этого мне нет никакого дела, — разумеется, в дан-

ное, горячее время. Я поглощен борьбой и на тихую работу не гожусь. А другим заменить некем, — вот и приходится нести работу, к которой не лежит душа, которую органически не приемлю в данный момент. Да, эту двусмысленность положения сможет разрешить суровое время и без нас — вулканическим взрывом.

МЫ — АНАРХИСТЫ

25 марта 1918 г.

На одном из недавних заседаний наша группа максималистов голосовала за и против государственности. За — ни одного, против — четырнадцать, один воздержался, так как не считал себя достаточно подготовленным к ответу. Таким образом, наша группа определенно сказала:

— Мы — анархисты.

К истории перехода скажу: т. Фурманову в этом деле принадлежит не последняя роль. В течение последних трех-пяти недель я все больше и чаще думал о свободной коммуне и, наконец, признался перед собою, что стал в душе анархистом. Это было скорей предчувствие перемены символа веры, а не отчетливое, яркое осознание себя анархистом. События ускорили дело: приехал экс-максималист, ныне анархист-синдикалист, т. Черняков. Он анархистом стал всего шесть месяцев тому назад. Теперь к нему определенно льнуло несколько членов группы. Черняков — бесспорный демагог. Смел, решителен, давно знаком товарищам и пользуется среди них популярностью. Лишь только он начал говорить, товарищи сочувственно закивали головами. Черняков пожинал то, что было посеяно мною. Это в известной мере затрагивало самолюбие. Самолюбие и заста-

вило ускорить дело. На первом же собрании я открыто заявил:

— Скажу вам, товарищи, откровенно: в течение двух последних месяцев я чувствую себя анархистом. Да и вы, я думаю, также. Вся тактика наша, вся работа, взгляды — все у нас анархическое. Только какая-то фальшивая скромность заставляет нас поддерживать организационную связь с максималистами. Я давно уже не государственник, я иду к коммуне.

Самого меня к анархизму окончательно толкнул... что бы вы думали? Продовольственный вопрос. Мне стало ясно за последние недели, что как ни делай, как ни заботься о закупках «в крупном масштабе, областном, районном, губернском», — такие закупки дадут мало толку. Необходимо разрешить закупку отдельным коммунам более или менее крупным. Они несомненно примутся за работу более активно и спасут нас от продовольственного краха и голодного бунта. Во-первых, следовательно в крупном масштабе не удается сразу закупить достаточное количество хлеба. Во-вторых, если даже хлеб и приходит, — он распределяется неправильно. Возьмем, к примеру, наш город. В уезде всего около двухсот тридцати человек. Из них в самом Иванове сто восемь тысяч. И на эти сто восемь тысяч человек берут две трети всего хлеба, тогда как степень нуждаемости в ближайших пролетарских деревнях и селах совершенно такая же, как и в городе. Создаются привилегии, идет обман. Чтобы избежать всего этого, необходимо дать право закупки коммунам, не мешечникам, а коммунам. И вот в душе засело это увлекательное слово «коммуна», засело и не давало покою. «Коммуна, коммуна, коммуна»... рокотало в мыслях... Скоро мысль о необходимости децентрализации (вопрос о власти совершенно еще не принимался во внимание, не занимал) стала подтверждаться массою фак-

тов по другим отделам — мануфактурному, финансовому, топливному...

К године революции наша группа готовила флаги.

На одном стояло: «За Трудовую Республику»,

на другом — «Жить работая или умереть сражаясь»,

а на третьем сияло: «На борьбу за Вольные Коммуны».

Этот лозунг я взял из «Голоса труда», взял «самочинно», не спросив даже согласия отдельных членов группы.

Флаги ни разу не были подняты. Они и до сих пор лежат свернутыми в комитете, так как демонстрация была отменена. «Коммуна» преследовала меня по пятам. Я еще не признавался открыто даже перед самим собой, что стал анархистом, но уже чувствовал, что в мыслях и в сердце совершается что-то большое... Потом начал подготовительную работу в группе. Тут-то и подоспел т. Черняков.

После голосования «за и против государственности» у нас были все основания утверждать, что «местная группа Максималистов стала анархической группой». Я заявил об этом на пленуме Губисполкома и мотивировал этим свое решение уйти из президиума:

«Мне, как анархисту, невозможно оставаться у власти... Я, разумеется, не брошу дела на полпути, но предлагаю вам поскорее кого-нибудь дать на мое место, а сам я буду работать там, где нет властвования, — в комиссариате просвещения...»

Это заявление было сделано твердо, спокойно, деловито, как-будто я был убежденным анархистом по крайней мере десяток лет. А на деле? На деле я ведь всего прочел лишь две-три анархические брошюры... Ну, разумеется, газеты читал, но все-таки, сами видите, — анархист юный, пустяковый.

У себя же на комитетском заседании заявил:

— Слава богу, я с анархизмом соприкасаюсь не первый

денек. Я не сегодня начал читать о нем, а знал его еще и до революции, я...

Дальше говорить было нечего. Все загуторили, объявляя, что они в этом и не сомневаются. Ай-ай, ребята: какие же вы, право, доверчивые. А ведь я знаю совсем почти столько же, что и вы, только скажу покраснее...

В воскресенье т. Черняков в депо читал лекцию на тему:

«Текущий момент и анархисты».

Лекция совершенно беспорядочная, мало содержательная, бесплановая, даже и не лекция, а скорее митинговая речь, которую произносит человек, во что бы то ни стало пытавшийся лишний раз подчеркнуть, что он анархист. Во многих местах было неловко за лектора: обнаруживалась демагогическая привычка играть на темных склонностях, на мелких эффектах, дубовых остротах. Потом пришлось выступить мне. Говорить было трудно: было видно, что анархистом я стал со вчерашнего дня. Я все время мешался, боясь затрагивать принципы, опасаясь густо прорваться. Все больше шел по фактам, — тут уже не ошибешься: вот они все налицо, а выводы делай сам, какие вздумаешь.

Этой же аудитории два-три месяца назад я читал лекцию о Трудовой Республике — я был тогда максималистом, государственником, «властью».

А теперь? Теперь я определенно заявляю:

«Мы, анархисты,»... и т. д. и т. д.

Тяжело менять старое имя. Краток срок. Крут перелом. Власть и безвластие; государство и вольные коммуны, — тут нужен совершенно иной язык. Лекция шла часа четыре. Оттуда — прямо в комитет на собрание; там просидел еще шесть часов без пищи, безо всего... Да так увлеклись, что и расходиться не хотелось. И было о чем поговорить: анархизм как учение не совсем еще ясен, подымается уйма жгучих вопросов, требуются исчерпывающие объяснения.

Коренной вопрос — о советской работе: оставаться нам в Советах или нет? Работать в Советах или против Советов? Против Советов как таковых бороться нельзя, даже, если из Совета и уйти, — на этом мы все сходились, но по вопросу об участии в Совете раскололись приблизительно пополам. Соображения за и против были одинаково сильны и каждый остался при своем. За уход из Советов ратовал т. Черняков. Я был против. Черняков говорил, что в Петербурге анархисты-синдикалисты ушли из Совета после октябрьского переворота, т. е. с того момента, как Советы, стали властью. До тех пор Советы властью не были и имели непосредственное общение с массами, отражая их волю.

— А теперь Советы ушли от массы, зарылись в работу чисто бумажную и не слышат, что делается на местах, не внемлют голосу жизни.

— Советы занялись борьбой политической, а надо решать вопросы экономические.

Я, всю революцию работающий в Совете, видевший и переживавший все этапы развития советской работы, отвечал ему столь же убедительно:

— Прежде всего не изо всех советов анархисты ушли. Они остались в Питере, Кронштадте, Харькове (я утверждал это смело, а между тем совершенно не знал, — вышли они или не вышли, — просто «спекулировал» на незнании аудитории; Черняков попался на удочку и сознался, что в Питере «некоторые анархисты» остались в Совете, тогда как прежде об этом молчал).

Следовательно, раз некоторые остались, абсолютного единства у анархистов по этому вопросу не имеется, и, оставаясь в Совете, мы лишь примыкаем не к тому течению, что т. Черняков, и отнюдь не подрываем каких-либо принципов, общих всем анархистам, — здесь против анархизма преступления нет.

Во-вторых, Совет властен лишь там, в центре. А у нас — разве он власть? Разве он приказывает и наказывает? Да отнюдь же нет. Он как раз является тою организацией, которая так или иначе регулирует экономическую жизнь. Он уже вовсе перестал заниматься политикой, хотя бы по одному тому, что некогда. Теперь на повестке дня стоят одни лишь хозяйственные, экономические вопросы. В самом деле, посмотрим хотя бы повестку дня пленума Губсовета за сегодняшний день: продовольствие, мануфактура, финансы, фабричная жизнь. Ведь только эти вопросы и стоят в известных комбинациях. Политики, партийности никакой, — одна голая экономика налицо. Да разве Совет приказывает? Нет. Он лишь советует более или менее категорически. А если не исполнит фабрика или завод — что он сделает? Ничего. Если же Совет закрывает буржуазную печать, борется с белогвардейцами и сажает их куда следует, — этакую «власть» не отрицают и анархисты.

Затем мы считаем позорным бросать Совет в такую трагическую минуту. Советам и без того безмерно тяжко. Там нет людей, некому работать. Мы бежим, словно крысы с тонущего корабля. Это даже нецелесообразно, ибо рабочие массы могут учесть это, как трусость (хотя это второстепенно). Ведь, выходя из Советов, мы их не разрушаем? Не так ли? А не разрушать и не поддерживать одновременно невозможно. Это сущая нелепость. Своим уходом мы его лишь ослабим, в то время как, оставаясь работать и не ослабляя его, получаем возможность повернуть всю советскую работу в свою сторону.

Победа осталась за мной, но расхождение все-таки глубочайшее. Прежнего единения в группе — как не было. Его и не будет больше. Теперь уже имеются определенные лагери, а между ними — война.

27 марта 1918 г.

Мало ли дела теперь в Совете! Только зачумленные голой теорией, слепыми «принципами», — только те могут сказать, что «власть советскую надо игнорировать, Советы оставить, а потом»... потом — остаться, видимо, по отношению к Совету в состоянии полной лойяльности. Положение абсурдное. Советы можно или поддерживать или свергать всемерно; тут «лойяльности» не может быть в смысле равнодушия, безразличия и проч.

Мы, анархисты местной федерации, по этому вопросу раскололись. Я стою за советскую работу. Философствовать не буду, приведу факты, утверждающие мою мысль. Оставаясь в Совете, я имею возможность проводить в жизнь принцип децентрализации, а не ограничиваться только его признанием. Мое место товарища председателя в Губсовете позволяет мне направлять советскую работу по определенному руслу. До сих пор Губсовдеп жил и живет единственно на проценты, собираемые с отправляемой мануфактуры. Сначала собирали два процента, затем три и теперь четыре. До последних дней Губсовет уступал уездным Советам всего лишь полпроцента. Мне удалось настоять на том, чтобы Губсовет получал только два с половиной, уездный — один и местный — полпроцента. Видя, что вся работа совершается на местах, что по недостатку средств работа там часто хромает, я гну определенную линию децентрализма и утверждения советских организаций на местах. Теперь, оперившись, они окрепнут и разгрузят нас от работы.

До сих пор отправка мануфактуры и сбор процентов проходили через мануфактурный отдел нашего Совета.

Теперь удалось провести иной принцип: отпускают фабричные комитеты с ведома и разрешения местного Совета. Деньги поступают на текущий счет этого Совета; затем

уездного и, наконец, нашего. Этим, во-первых, расширяется самостоятельность и круг компетенции советских организаций на местах; во-вторых, облегчается наша губернская работа.

На-днях пришло к нам тридцать миллионов рублей. Девятнадцать из них было роздано, одиннадцать оставлено на текущие расходы, на счетах мануфактурного и продовольственного отделов. Ясное дело, — резерв у нас должен быть всегда наготове, но, посудите сами, как можно хранить такой резерв, когда некоторые фабрики, например по Шуйскому уезду, не получали денег уже в течение трех с половиной месяцев? Хранить такой резерв является преступлением. Приехали шуйцы. Фабрики у них стали. Централисты были против того, чтобы трогать этот «неприкосновенный капитал», но все-таки пришлось к нему «прикоснуться»: Шуе выдали полтора миллиона. Прошло мое предложение. В Совете работать необходимо. Вы скажете, что он — власть, что анархисту в нем не место. Очень может быть, что отдельные проявления его смежаются с проявлениями власти; наша задача — эту власть обратить в способность к координации. Ведь наша роль, как губернского центра, должна сводиться именно к координации волевых проявлений с мест; к учету этих фактов, к выводам из них; к советам — местам наиболее целесообразно затрачивать свои силы, сообразуясь с нашими выводами. Мы не власть приказывающая, а центр координирующий. Во всяком случае, мы им должны быть. Необходимость существования координирующих жизненно-необходимых центров признается и анархистами. А Советы — органы, во-первых, жизненно-необходимые, во-вторых, исключительно трудовые, не парламентские. Критиковать со стороны и умывать руки, когда Советы в смертельной опасности, — разумеется легче, нежели оставаться в них и работать. Но мы ведь ценим труд не по легкости, а по тяжести. И отбросив голую анархистскую теорию,

мы анархисты-практики, не только чтущие идею, но и стремящиеся провести ее в жизнь, — мы останемся в эти трагические минуты на своих постах.

2 апреля 1918 г.

Тов. Черняков уверял, что анархисты-синдикалисты против работы в Советах и работу эту всюду оставили. Просмотрел я на-днях старые №№ «Голоса Труда» и встретил там нечто иное. Говорилось это иное не до Октябрьского переворота, а позже — в январе-феврале. Там говорится о допустимости и необходимости работы в Советах при известных условиях.

«Мы должны теперь вести борьбу против Советов не как формы вообще, а против существующей ныне властной советской формы... Не возбраняется, конечно, в отдельных случаях вести эту борьбу и внутри Советов...» [1]

«Считаем (считая) работу в Советах, на ряду с работой в других формах объединения труда, важной задачей для нас, анархистов-синдикалистов, признаем (признавая) поэтому и участие в исполнительных органах Советов на местах...» [2]

По отношению к советской работе здесь высказываются те же соображения, что приходилось неоднократно в кругу товарищей высказывать и мне.

Наша группа девятью голосами при трех воздержавшихся признала необходимость остаться работать в Советах. С приходом т. Чернякова на собраниях, несомненно, стало оживленнее, но оживленье это зачастую идет по линии пустейшей, вредной болтовни.

В группе имеются ура-анархисты: бери, хватай, забирай, отнимай... Просто любители острых ощущений. А один так и определенный трус. Он все рекомендовал занять

---

[1] „Голос Труда", № 22, 1918 г.

[2] „Голос Труда", № 34, 1918 г.

«особняк» (это слово ему особенно нравилось). Но я уверен, что сам он занимать «особняк» не пойдет. Говорили о захвате имения и про эксы, но как-то некому всем этим заняться, — дела остаются без движения.

Прежнего единения в группе нет. Налицо глухой ропот, недоверие, назревающий конфликт. На одном из последних заседаний настолько закипело у меня внутри, что хотел бросить все, уйти и увести за собою сочувствующих товарищей. Сдержался, не ушел, но разрыв очень и очень возможен. Последние заседания проходят без председателя — запись ораторов ведет секретарь. Получается порядочный беспорядок. Не привыкли еще мы.

18 апреля 1918 г.

Все та же — старая, знакомая тема. Она измучила и истерзала в конец: оставаться анархисту в Совете или нет? Работать с лучшими из рабочих, или слиться с бесформенной массой, склонной отречься не только от власти, но и от любой организации вообще?

На повестку дня вчерашнего собрания я поставил девять вопросов. Среди них был, между прочим, и вопрос о захвате Скорынинского дома. По этому вопросу прения были весьма интересны и весьма продолжительны — более двух часов.

Чтобы начать практически проводить свои идеи в жизнь, утверждал я, необходимо, во-первых, быть достаточно убежденным и действовать не только под наплывом чувств. Ура-анархизм, к сожалению, преобладает у нас над учением, строго, продуманно, последовательно проводимым в жизнь.

Во-вторых, начиная большие дела, необходимо иметь под ногами твердую почву, надо опираться на рабочую массу, которая бы нас знала, которая бы нам сочувствовала, которая поднялась бы за нас в нужную минуту.

Знает ли нас масса, вступится ли за нас, сочувствует ли нам настолько, чтобы мы могли опереться на нее в нужную минуту? Нет, нет и нет. Во всяком случае, пока — этого нет. И очень понятно почему: группа наша молодая, сравнительно малочисленная, агитаторских и пропагандистских сил она не имеет и заявляла о себе до сих пор по всем этим причинам недостаточно громко. Нам необходимо сначала проявить себя, заявить о себе, растолковать, что мы собою представляем и чего добиваемся, и только после этого, заручившись сочувствием масс, начинать работу практическую с надеждою на успех и не опасаясь, что затея эта выльется в самую будничную авантюру. Это — во-вторых. А в-третьих, — необходимо довести до сведения Совета о том, что мы занимаем особняк, ибо в Совете, несмотря ни на что, сидят товарищи.

Это не просьба, это не унижение, — мы лишь доводим до сведения.

Вы удивляетесь и спрашиваете, к чему нужна эта глупая процедура. «К чему, дескать, тебе мой паспорт, когда я сам перед тобой». С внешней стороны вы совершенно правы. Но посмотрите вглубь. Как бы там ни было, но Совет представляет собою ту организацию, которая приняла на себя все функции, всю созидательную работу революции, сосредоточила в себе, как в фокусе, все нужды и запросы пролетарского населения. Пролетарского — поймите это. Ведь не буржуазия, не соглашатели-социалисты засели в Совете, — там засели наши же товарищи-большевики, с которыми рука об-руку мы шли всю революцию.

Эта организация ведает распределением всяких благ среди рабочего люда. Вы говорите, что она дурно, неумело выполняет свои функции. Что ж, я согласен с вами, но виновата ли она в этом?

Ведь не профессора сошлись в Совете, — идемте туда, давайте им помогать.

Мы помогаем Совету, захватывая особняк, утверждаете вы.

— Это, товарищи, худая помощь, говорю я. Ибо завтра же группа хулиганов захватит Бурылинский дом, выгонит Бурылина, а все добро оставит себе. С точки зрения «анархистов-пистолетников» это будет, разумеется, правильно, но мы ведь не совершаем трехрублевых экспроприаций у рабочих в свою пользу, как это делают пистолетники, мы ведь держимся иной тактики. Мы отказались от мягкой мебели и приказали заменить ее другою, более простой и удобной, а кучка хулиганов ведь не будет проделывать это: она не только мягкую мебель, — она захватит и ложки, и чашки, и проч.

А потом у одного окажется пятнадцать, а у другого двадцать тысяч наличными, как это было в Москве.

Ведь это уж не сказка, не выдумка, что в Москве под черное знамя пробралась всякая нечисть: — воры, громилы, хулиганы. Да и у нас при обсуждении вопроса о захвате дома разве не разгорались глаза и зубы. Разве об этом неясно говорится в протоколе: одному хочется перебраться на спокойное житье; другой говорит, что корову следует оставить, ибо «найдется, кому пользоваться».

Тут был налицо личный, низменный, корыстный расчет.

Одним этим вы уже исказили бы, испохабили бы свою идею. Под этими желаньями я лично не подпишусь.

Что вы скажете той группе хулиганов, которая захватит Бурылинский дом и назовет себя, положим, анархо-индивидуалистами, или чем хотите? Положение самое нелепое: мы создаем прецедент для хулиганства.

Нет, сначала давайте составим кадр честных, надежных работников; сначала встанем твердо на ноги, а тогда уже и за большую, верную работу возьмемся.

Совет — организация, которая держится авторитетом и верою масс. Если этот авторитет будет поколеблен, — знайте, что положение используется не нами, а нашим врагом — буржуазией.

По этим трем соображениям:

1) что мы недостаточно уяснили себе учение анархо-синдикализма,

2) что мы не имеем достаточно широкой и твердой базы,

3) что в Совете сидят наши друзья, а не враги, — я считаю необходимым, для поддержания и утверждения советского авторитета, дать туда сообщение о том, что мы особняк занимаем для собственных нужд, для нужд группы.

Я знаю, что Совет санкционирует эту весть по-товарищески. А ежели нет? — спрашиваете вы. — А, тогда другой вопрос. Тогда у нас будут козыри в руках, тогда мы сможем заявить рабочим, что Совет оставляет дома буржуям и не дает их занимать тем группам, которые борются за рабочих.

Этим козырем мы, несомненно, побьем советскую карту и побьем через протесты самих рабочих, а не ружейными залпами. Мы не смиренники-непротивленцы, мы будем первыми стрелять в наших классовых врагов, но мы никогда не будем плодить себе врагов в среде пролетариата, в среде своих же братьев, ибо на эту удочку, пожалуй, попадется и вся наша трудовая революция.

Совершается какая-то огромная провокация; закинута умелою рукою тонкая, хитро-сплетенная сеть. В эту сеть ловят одновременно большевиков и анархистов, — ловят всю социальную революцию. Надо быть максимально осторожным. Буржуазия заходит с заднего хода. Она разбита в открытом бою, и решила обойти нас с тыла. Нет никакого сомнения, что кадры нашей черной гвардии вербовались не без ее участия. Вот положение.

Ты, Александр (Черняков), утверждаешь, что морально мы

несомненно правы и имеем за собою основание утверждать, что и фактически мы будем достаточно сильны. Откуда у тебя эти иллюзии? О моральной стороне не будем говорить, против этого никто не говорит, а вот, что касается проведения — это для меня значит вот что: в субботу, когда особняк будет освобожден, лягут костьми несколько человек красных и черных гвардейцев.

Чтобы там ни происходило, — давайте хранить максимальное единение, давайте хранить рабочее дело, а не свою партийную мантию. Пусть она несколько позапачкается эта пурпурная мантия, пусть, — нам бы только сохранить и довести до конца рабочую победу.

Ведь, если логически рассуждать и московские события перекинуть на периферию, — ведь революция сгибла.

Неужели это для вас не ясно? Анархисты живут по всей России и по всей России поднялась бы эта резня. Что будет тогда? Ведь свои своих начинают губить.

К горю нашему, в Воронеже и некоторых других местах повторяются в миниатюре московские события. Давайте же хоть здесь, у себя, держать единение до последней границы. Он, Черняков, поговорил, разумеется, о власти, о том, что Совет тут виноват больше, нежели мы, что он нас всех знает и в честности нашей сомневаться не имеет никаких оснований... Все эти соображения бледнеют перед возможностью раздора среди рабочих.

Проголосовали. Мы, пять человек, высказались за извещение Совета; двое воздержались, двенадцать человек было против.

Таким образом, вопрос был разрешен в отрицательном для нас смысле. Я был глубоко взволнован, возмущен и озадачен. Дальнейшая работа в группе, повидимому, невозможна. Разумеется, не из-за этого случая, — он лишь один из многих, — тем хуже. Прежде приходил я в группу с радостью.

Тогда не было оппонентов, тогда все шло мирно, и время использовалось продуктивно.

Читали, беседовали, спорили, — все это было, но было и огромное единение. Мы были поистине братьями. Дисциплина была строгая, истинно-товарищеская. Правда, было трудно, ибо кроме меня, некому даже было вести собрание, но дух товарищества, политическое воспитание, все это, несомненно, было налицо. Но... приехал Александр, человек несомненной честности; преданный делу до глубины души; боевик по натуре, — и все изменилось.

Анархо-синдикализм мы с ним как бы поделили пополам: он взял «анархо», а я «синдикализм». Вот почему он и против Совета, и за немедленный захват домов. И выходит, что двум петухам в одном курятнике не жить.

Ставя на первом месте работу среди рабочих и для рабочих, я, разумеется, групповые занятия ставлю позади советской работы.

Об этом сообщил и группе. И вот, сегодня т. Муссатов сообщил мне, что некоторые члены за это именно ко мне и «охладели», перестали по-старому уважать и считаться со мною. Это сообщение полоснуло меня прямо по сердцу. Дальше ждать не было терпения. Я чувствовал, что мои друзья, с которыми работал всю революцию, уходят, ушли от меня. Было тяжело до боли. Я уж не помню, по какому поводу и после чьего выступления, я вскочил, поднял стул, ударил его с силою о пол, разбил на части, и, схватившись за голову, выбежал из комнаты. Все повставали, засуетились, зашумели. Через две минуты я вернулся. Старался взять спокойный тон, сообщил даже о своей поездке в Москву, но все уже было потеряно: я заявил о своем уходе из группы.

— Я имею все моральные основания, — кричал я, в крайнем исступлении, — все основания к тому, чтобы деньги оставить у того меньшинства, которое останется со мной!

К чему была эта глупость? Я понял, что сказал то, чего совершенно не следовало бы говорить, что это может быть понято так, что я деньги хочу оставить себе. Я понял, что сказал отвратительную, непоправимую штуку, что влез в самую середку глубокой лужи. . . Я кричал, бранился и ругался напропалую.

— Идемте, возьмите у меня эти деньги, эти проклятые тысячи. Снимите с меня эти кандалы! — кричал я через две минуты. Был в уме какой-то хаос; в сердце — смятение, отчаяние, боль, сожаление и злоба, бесконечно-жгучая злоба, а злобу разжигал стыд и неловкость за мальчишество, за болтовню, за ребяческие поступки. Потом я пытался брать спокойный тон, но его хватало только на три слова. Решили закрыть собрание и собраться в воскресенье в 12 часов исключительно по вопросу: работать вместе или разойтись?

Я, признаться, стою в раздумьи. Группа гибнет. Начинают притекать новые члены, — незнакомые, чужие люди. Строгость подбора начинает ослабевать. Еще нет жестоких ошибок, еще не проползла гадкая нечисть, но чувствую, вижу я, что жадные ее взоры устремлены на нашу группу, что скоро она пожалует к нам.

А прежняя строгость, товарищеская дисциплина, — все это, несомненно, ослабело; все мы как-то распустились, многие поняли до безумия по-ребячески идею безвластия. Дело рассыпается. Оно еще не рассыпалось, но на пути к тому. Тяжело присутствовать при этом падении, при развале той храмины, которая строилась при моем ближайшем участии. Сколько тут было положено труда; сколько было тут затрачено усилий. И вот теперь она начинает рассыпаться. Уйти. . . но вот в чем дело: я уезжаю почти на целый месяц в Екатеринодар. Что мои сотоварищи будут делать без меня, уйдя от Александра, который, несомненно, без меня будет вести дело? Я их оставлю на мели. У них не будет руководи-

теля, а им — неопытным, мало-развитым, с трудом разбирающимся в сложной действительности, — им руководитель нужен. В противном случае будет или понапрасну теряться время в ненужных разговорах, чему тысяча примеров, или вовсе не будут собираться. Вот положение! Нужен выход.

По всей видимости на время придется сохранить единение и сохранить его исключительно для товарищей. Мне неизбежно придется уехать. Они одни останутся без руля и без ветрил. И несколько опешат, увидят, что я их увел за собою, а сам уехал. Является вопрос: а не лучше ли будет им совсем не работать, нежели работать под руководством (а оно, несомненно, всегда налицо, даже в самой архи-анархической организации) Александра?

Нет, — думаю, что в работе с ним они получат больше. В моих руках судьба этих немногих, дорогих сердцу товарищей. Обдумывая и передумывая, ради них решаю сохранить временно единение, остаться в группе. Но по приезде поведу отчаянную кампанию против ура-анархизма, который начинает побеждать истинный анархизм.

23 апреля 1918 г.

Вот и хорошо, что обождал с решением: теперь я на вопрос уже смотрю иначе и остаюсь в группе не только потому, что это необходимо, как временная мера, но и потому, что нам необходимо единение вообще. Наша группа небольшая, всего человек тридцать. Если расколемся, — распылим силы, и работа «для идеи» сойдет на нет. Мы успокоим, правда, личные прихоти и перестанем петушиться, но дело, живое и нужное дело много потеряет в результате этой операции. В сущности — что заставляет нас разойтись? Разномыслие по некоторым вопросам.

А разве может быть, говоря вообще, единомыслие по какому-либо, даже крошечному, вопросу?

Нет, не может. И, логически рассуждая, мы должны будем разойтись и работать в одиночку. Мы от этого, быть может, и выиграем, но дело, несомненно, проиграет.

Были у меня, правда, и другие соображения, сильные соображения хотя бы относительно товарищеской дисциплины, но, скажу откровенно, я сгустил тона: эта строгость живет до сих пор, и ни один член еще не принят «с кондачка».

Вчера даже был такой случай: один из лучших товарищей, т. Муссатов, заявил, что предшествующей ночью, нетрезвый, он попался на обход. Его записали, отобрали бумагу, выданную группой (осмотреть особняк Скорынина), отобрали и револьвер. Долго мы обсуждали этот вопрос, много высказывали соображений, но никто не высказывался против товарищеского наказания, — все понимали, что без последствий оставить этого дела нельзя.

Эти разговоры не были лицемерными кривотолками о сучке в глазу брата, когда в своем глазу целое бревно, — это была истинная, неподдельная жажда во что бы то ни стало спасти, оградить честь и репутацию группы.

Порешили на том, что на месяц он исключается из членов группы, о чем осведомляем через печать. Винтовка, граната, — это все остается у него, ибо доверие к нему, как к надежному товарищу, отнюдь не поколеблено происшедшим фактом. Призвали, по-товарищески объяснили, — он понял, разумеется, нас, как и надо было понять, принял и даже одобрил наше решение, как ни горько попадать в печать с подобною аттестацией. Так пришлось мне вчера убедиться, что дисциплина товарищеская у нас еще жива, что сами мы, все вкупе, стоим на страже интересов общего дела.

В воскресенье было собрание, вчера другое — два под ряд.

Первое — в Совете, второе — в новом нашем помещении в доме Скорынина. От минувшего четверга до воскресенья некоторые товарищи, повидимому, одумались, размыслили и остереглись создавать раскол в группе. Когда вопрос дебатировался вновь, после, размуеется, предварительного собеседования, — результат получился иной: за мое предложение — известить Совет — голосовало четырнадцать, против, кажется, пяти или шести.

Извещение приняли в такой редакции:

«Иваново-Вознесенская группа анархо-синдикалистов доводит до сведения Совета, что ею занят дом Скорынина для помещения там комитета группы и редакции.

Ответственные члены группы: Фурманов, Сидоров и Пузанов».

Подано заявление было на имя Совета, а рассмотрено было даже не Исполнительным комитетом, а президиумом.

На следующий же день, т. е. вчера, нам прислали бумагу, приблизительно такого содержания:

Исполнительный комитет предлагает дом не занимать, а ежели занят, — через два дня чтобы был очищен.

Смысл отношения был именно таков. По этому поводу было у нас вчера долгое совещание.

Порешили на следующем:

Решение президиума еще не решение Совета: может-быть, даже и Исполнительный комитет перерешит это постановление. Если же нет, — мы поднимаем вопрос на советском заседании. Пока что остаемся в захваченном доме. Пусть приходят и прогоняют, — сопротивляться, отстреливаться не будем. Но мы вопрос поставим на обсуждение всего Совета и думаем, что он решит по-иному.

Придется может быть, вообще поставить вопрос о доверии Совета к группе Совета (а не к партии большевиков).

Потом разбирался вопрос о дальнейшей работе группы и распределении этой работы среди членов. Александру Чернякову поручено составить примерную программу работы. Здесь, в огромном доме (если только удержимся), необходимо создать клуб анархистов. А там потребуется и библиотека. По этому вопросу также было не мало высказано сомнений и положительных соображений.

Взять библиотеку можно у Александра Горелина, библиотека прекрасная.

На его же лошадях и перевезем — со всем, со шкафами и проч.

Но ведь нужен библиотекарь, а на большую, хорошую — так еще и хороший библиотекарь. Найдем человека или нет?

Затем необходимо для хорошей бибилотеки ставить карточную систему, нужен картон (бристоль), а следовательно и деньги.

Дальше: взяв мало, не потерять бы много. Может быть, взяв библиотеку у Горелина, мы перепугаем всю остальную буржуазную свору, и она припрячет все книги.

Ну, человека, положим, найдем, — сами займемся, я некоторым товарищам помогу освоиться, и дело пойдет.

По второму вопросу — думаем, что придется пока жить паллиативами: собирать на лекциях, от продажи литературы, добровольные пожертвования самих рабочих.

Но все это, несомненно, паллиативы. Дальше — книги ежели и спрячут, то не увезут же в Африку — у нас же останется.

Вопрос о средствах, действительно, острейший вопрос.

Толкаемые жизнью мы неизбежно идем на единовременный акт, — например, на экспроприацию.

Жизнь у нас закипела.

Сил, повидимому, хватит. Во всяком случае на первые шаги. Только имеется у меня опасение: не зашиться бы. Обо-

рудование дома, типографии, издание газеты, создание библиотеки — на все это нужны большие силы, а таких больших сил у нас не найдется. На первые шаги — да. А потом?

Смелость, смелость и смелость...

Все это хорошо, но приходится еще и на аршин в землю смотреть.

26 апреля 1918 г.

Смелость нужна во всем, даже в лекторском деле.

Приехал я из Москвы. На следующий же день сделал доклад-лекцию о московских расстрелах; через два дня повторил. Народу оба раза была масса и успех был полный.

Теперь взялся за дело и приготовил другую: «Парижская Коммуна и Советская Россия». Материала много, а главный взят из Лиссагарэ и Артура Арну. Материл вчерне, а начисто я его отделываю уже в процессе импровизации. И нельзя сказать, чтобы выходило неудачно. Я за собою слежу строго и могу ценить беспристрастно. Смелость нужна во всем. Она помогает и мне развернуть возможно широко потаенные силы. А они есть, я это чувствую.

Нам в помещении отказали. Это звучит нелепо: отказали анархистам. Я сам больше склонен бороться в Совете, нежели против Совета и потому реагирую на этот факт недостаточно остро, жду, когда приедет Александр.

Он, несомненно, что-то будет делать, а мне и браться неудобно, ибо завтра уезжаю недели на две, на три. Заварить кашу — не штука, а расхлебывать ее придется товарищам.

Здание опечатано, поставлена стража. От кого что они оберегают? Скороходов на пленуме говорил о том, что Скорынина «дрожала, волновалась», когда передавала Совету о захвате дома. На этом я сыграл и жалость к буржуям выста-

вил в жестоком виде. При голосовании я сделал громадное опущение: не настоял на закрытом голосовании.

Разумеется, многие открыто не заявили о своем неодобрении Исполнительного комитета по нашему делу, но, несомненно в души многих я заронил сомнение в правильности действий Исполнительного комитета: двадцать пять человек воздержались. Это большое дело. Я думаю, что при закрытом голосовании их голоса решили бы дело в нашу пользу.

Дальнейший путь представляется мне следующим образом: в особняк, все-таки, надо итти. Нас оттуда выгонят — пусть, сопротивляться мы не будем. Мы найдем другой, известим Исполнительный комитет о том, что хотим его освободить для себя и посмотрим, что будет. Я уверен, что Исполнительный комитет этот новый особняк оставит за нами. Если же нет, то у нас будет новый козырь за то, чтобы этот особняк находить самим. Вам тут чудится унижение, капитуляция, компромисс... Да, со своей точки зрения вы правы, ибо считаете Совет вражьей организацией. К врагам итти на поклон — несомненно компромисс, несомненно капитуляция и унижение. Но в том-то и разница, что, не взирая ни на что, я до сих пор считал и впредь буду считать Совет товарищеской, дорогой для себя огранизацией, оплотом революции, органом, который с некоторыми видоизменениями может стать почти совершенным (для нашего времени) органом рабочего движения. Совет заблуждается, Совет ошибается. Правда. Но значит ли это, что Совет — вражеская организация? Для меня этого вывода нет.

Должен быть этот стальной, могучий орган, который в переходное время вынужден проявлять свою диктатуру, свою беспощадность к врагам со всех сторон. Мы, анархисты, бродим вокруг да около, а открыто не хотим признаться в том, что для наших дней централизованная защита выгоднее, нежели децентрализованная.

Большевики этот орган называют властью, мы его назовем *организацией защиты*. Но не в словах дело. Смысл ведь остается один и тот же.

Я все больше и больше убеждаюсь, что, проповедуя идеал анархии и претворяя его, где возможно, в жизнь, отнюдь не годится во имя этого идеала кидаться на стену, отказываться от централизованной защиты и тем самым губить дело. Я об этом еще не заявляю во всеуслышание, но переворот (да и переворот ли? Не было ли этого убеждения все время?) во мне, несомненно, имеется. Может быть, это будет новое течение и в анархизме, но это течение наиболее жизненно, оно ответит нуждам рабочих.

1 мая 1918 г.

Я никуда не уехал, остался в группе. На последнюю мою лекцию, что я читал у Горелина в столовой 27-го (Парижская Коммуна и Советская Россия), — на эту лекцию приехал Александр.

На следующий за лекцией день у нас было собрание группы. Разбирали, между прочим, вопрос о здании. Как быть? Президиум, затем Исполнительный комитет, а позже и Совет, постановили дом Скорынина взять «под лазарет».

Это «под лазарет» было уморительно: они путались дня три-четыре прежде, чем вскрыли его, а вскрыв — пустили туда несколько беженцев. Но так или иначе Совет одобрил поведение Исполнительного комитета.

Что оставалось нам делать?

Итти и во что бы то ни стало брать здание?

Лезть на стену, стрелять?

Нет, — это безрассудно, это вредно для общего дела.

Может быть, снова поднять вопрос в Совете?

Это бесполезно и неудобно: что скажешь нового?

Махнуть рукой?

Нет, не годится; надо что-то сделать.

Я внес следующее предложение, оно было принято: выбираем комиссию из трех человек и поручаем ей найти новое помещение. По приискании — доведем об этом до сведения Исполнительного комитета. Если скажут, что оно занято или предназначено под что-либо иное (больница, приют и т. д.)— отказываемся, уходим.

Так же уходим в аналогичных случаях и из второго, третьего, десятого помещения. Наконец, останавливаемся на свободном здании, о чем извещаем Исполнительный комитет.

Тут недоразумений уж никаких быть не может. Да их и не было бы, если б только я разъяснил товарищам во-время ту мысль, что советская организация — наша дружеская организация, что дело делать с нею следует по-товарищески, что тут нечего сразу «оставлять за собою свободу действий», — дело можно бы было устроить в три минуты. Эту мысль я развил им подробно и в результате убедил.

Дальше толковали о том, что приходящие газеты залеживаются, их никто не берет, не распространяет.

Поручено было троим ежедневно справляться на железной дороге и в почтовом отделении. Первым же вопросом разбирался вопрос о праздновании 1-го Мая. Разумеется, мы идем с рабочими. Приготовлено три плаката с лозунгами: анархия — мать порядка; дух разрушающий — есть созидающий дух; ни бога, ни хозяина.

Первый плакат написан чудесно нашим же товарищем, анархистом Грачевым.

Мне поручили написать и выпустить листовку «На первоемая». Накануне вечером листовка была готова в количестве тысячи штук. Плохо только, что песен анархических не знаем, — все некогда научиться, да и не у кого, говоря по совести, никто из нас их не знает.

Вчера вечером собрались потолковать о том, как продуктивнее использовать пасхальные дни. Решили с Александром поездить по району и почитать лекции. Захватываем Кинешму, Шую, Кохму, Юрьев-Польский...

В каждом месте — лекции по две. В четверг же отправляются «*разведчики*» — узнать о помещении, объявить, сдать кому следует билеты и т. д. Соберемся в субботу вечером накакнуне пасхи и окончательно все разрешим.

★

Я еще остался на советской работе, сняв с себя звание члена Губернского Исполнительного комитета, — остался, в качестве приглашенного, членом коллегии по просвещению, но чувствую все большую и большую тяжесть. Порвались глубокие коренные связи с Советом. Я стал чужим, уже не чувствую себя в Совете «своим человеком», которого касается, которого тревожит всякая мелочь. Я чужой. И хочется мне вернуть старое, но уже нет возможности. Все чаще и чаще приходит мысль об окончательном разрыве. Оставить все, уйти, уехать... Разумеется, уехать можно, но страшно тяжело расставаться с рабочими: к ним я привык, с ними я сжился... Теперь уж и не работаю — влачу существование. Как повернется дело, — сказать трудно, но едва ли оно будет оставаться в таком положении.

С Советом порываются всякие связи.

Вероятно придется уйти. Что пересилит, — не знаю. Уход бесконечно тяжел...



Ничего особенного. Все прошло средним ходом. Роскошные знамена, выписанные артисты... Все это, разумеется, не худо, но пролетарская целомудренность праздника как-то нарушалась этими ненужными, дрянненькими рассказами про

пьяного купца, птичью свадьбу и проч. Хорошо еще, что не все дребедень была.

«Утес», «Каменщик» и две-три другие вещи скрасили впечатление мещанской пошлости, оставленное разным хламом.

Я забежал вперед и говорю о вечере, о торжественном праздновании 1-го Мая.

Но уж если начал — кончу.

Прослушав первую половину вечера, я ушел из театра и не слышал торжественных речей. Ушел без цели, куда глаза глядят, смутно имея в мыслях пойти в Рабочий клуб. Туда и попал. В театре было не по себе. Хотелось выступить, сказать, поведать что-то жаркое, задушевное... И в то же время лень была смертная. Общественные выступления утомляют. Справился у Александра: будешь ли говорить.

— Зубы, говорит, болят.

А вижу, что выступить ему хочется. Я было согласился его заменить, но потом раздумал и, сговорившись с ним, ушел из театра. А часть, и большая часть, рабочих ждала моего выступления, — об этом уж знаю наверное. Ждали они еще у Совета. У Совета речь моя была сорвана: только что начал говорить — как ударил марш.

Приходилось сильно напрягаться. Речь была сорвана. Я озлился, но затаил злобу, бессильную злобу, в груди и никому ничего не сказал.

В театре выступать еще не хотелось и потому, что выступал Александр. Мы вместе как-то не выступаем, обычно управляется один из нас.

В Рабочем клубе пробыл лишь несколько минут.

Артисты как раз кончили. Можно было говорить и даже пригласили, но не хотелось, была смертельная лень. Вышел вон, побрел, было, снова в театр, но повернул в сторону и зашел к Тоне, где в самой безобидной болтовне провел целых три часа. Так печально, нудно закончил я великий день...

Мы шли под черными знаменами:
«Ни бога, ни хозяина».
«Дух разрушающий — есть созидающий дух».
«Анархия — мать порядка».
«Угнетенные, мы всегда с вами против угнетателей».
Это наши лозунги.

Наши черные знамена резко выдавались среди целого моря красных знамен. От наших лозунгов некоторые шарахались в сторону. Мы пели «Черное знамя», спевшись только сегодня утром, в течение пяти-шести раз. Затем снялись. Над головами реяли те же черные знамена, звали и будили мысль те же горячие лозунги.

Что-то в этот день творилось по всему миру? Мы ждем вестей с глубоким замиранием и верим... Верим во всемирное восстание, но эта вера чем далее, тем более принимает характер мученической идеи. И в душу падает сомнение. И сомневаемся, и верим.

7 июня 1918 г.

Этот негодяй (а я его считаю именно негодяем) Яманов считает себя, видимо, хозяином тех сумм, которые были им доставлены с группой. На вчерашнем заседании была опасность, что его проведут в коллегию. Он тут последнее время все вертится в комитете и пытается заявить себя деятельным членом, но мы его тактику хорошо понимаем и предостерегаем товарищей елико возможно.

На заседании 6-го июня в коллегию избраны:
Муравчиков, Шабалин, Иван Черняков, Шатунов, Фурманов.

Кроме Шабалина, все были налицо. Заседание коллегии состоялось. Яманов, видимо, злился, что не попал сюда. Обсуждались вопросы о хранении оружия, многих тысяч де-

нег, относительно париков, плана нападения и обороны. Неужели из нас кто-нибудь ненадежен?

Не допускаю подобной мысли. Только молчаливость, вкрадчивость, осторожность, да какая-то затаенность Павла Ивановича Муравчикова иногда смущает. Хранить деньги он отказался.

Записывать все, что происходит в группе, нет времени. Отчасти обслуживают эту сторону журналы заседаний. Они ведутся исправно. На-днях обещают приехать гр. Лапоть и Ярчук провести два митинга об анархо-синдикализме в связи с текущим моментом.

Еженедельно предполагаем устраивать у себя в клубе бесплатные беседы и чтения. Начинаем с будущего воскресенья.

★

Признавая работу в Совете более важною, нежели работу в группе, я львиную долю времени отдаю именно Совету.

В комиссариате просвещения работа кипит. Уже проведено тринадцать-пятнадцать лекций с инструкторами-внешкольниками. Скоро их выпускаем в работу. Да и теперь уж началась у них живая работа. Распределили между собою двенадцать-четырнадцать рефератов и ежедневно делают доклады, устраивают дебаты, обсуждают; распределили между собою клубы, детские дома, кружки молодежи и проч. Собирают материал, делают доклады о виденном и слышанном. Сорганизовались. Избрали председателя, через которого сносятся с нами. Избрали библиотекаря, взяли на свою ответственность библиотеку. И все это по собственной инициативе, безо всяких указок. Они, несомненно, пойдут в ход.

Вчера, 6-го, беседою об эволюции и революции открыл я занятия на курсах для общественных работников. Приехало пока человек двадцать пять, да ивановских столько же.

Съехавшиеся — все рабочие, публика молодая, любопыт-

ствующая, жадная до знанья. Набрали книг, углубились в занятия. Через две недели открываем учительские курсы. С ними тоже бездна хлопот. А там работа с открытием политехникума, рабочего университета, учительского института, с библиотеками, книжным складом и проч., и проч., пожалуй, до бесконечности.

А ведь работать, собственно, приходится только двоим нам с Исидором Евстигнеевым. Он человек прямо гениальный по части всяческой организации. Мне у него есть чему поучиться. Работа нас затрепала напропалую, только успевай повертываться. Как говорят, в ближайшие дни из Москвы прибудут товарищи, которые разделят с нами работу.

Благодарная, хорошая работа, только тяжело, становится невмоготу, — приходится разом о десяти делах думать.



Носится в воздухе дыхание смерти, — нашей смерти, нашей гибели. Все против нас: международная злая сила, германские победы на Западе, голод, недомогание и расползание по всем швам.

Даже рабочие начинают во многих местах сдавать позиции и направляются в лагерь тех, которые были отброшены с арены общественной жизни еще в октябре прошлого года.

Выносятся всюду грозные резолюции.

Учащаются восстания, протесты.

Положение, одним словом, катастрофическое. И выхода нет, просвета не видно...

Нас должны сдавить и сокрушить, — к этому ведут события. Уж кажется, и выхода нет никуда...

А все-таки горит, горит в душе и не потухает живая вера в то, что мы победим.

ОТ АНАРХИЗМА К БОЛЬШЕВИЗМУ

30 июня 1918 г.

Вчера, т. е. 29-го, у Куваева в столовой мы устроили свой митинг.

Ну, и что же? Может быть, прекрасно, удачно прошел? Может быть, ораторы были незаурядные? Ведь из Москвы, из «центра» приехали. Может быть, перекрестили публику? Складно, умно говорили? Да ничего подобного: митинг, как митинг. Говорили о том, о сем, а больше — ни о чем. Не одни мы, грешные провинциалы, повинны в безалаберности и хаотичности, которые объявляются особенно ярко на митингах. Отнюдь нет. Товарищи центровики не хуже нас скакали от Учредительного собрания к чехо-словакам; от них к «Керенщине» и керенкам; отсюда к социальной революции, к Октябрю; от Октября к Совнаркому, от Совнаркома к Совдепу... Не хуже нас беспорядочно нагромождали они перед толпою вороха всего того, что удержалось в памяти. Никакого плана, никакой системы, никакой общей мысли. Во всяком случае, меня митинг совершенно не удовлетворил. Может быть, я слишком требователен к ним, но думается все же, что ровно ничем они не отличаются от нас, бедных провинциалов. Было скучно, тошно, хотелось спать, уйти куда-нибудь в тишину. Несколько расшевелил т. Черняков.

Как всегда, живой, яркий, каламбурно-острый, бьющий больше на «революционную фразу», — он для уставшей аудитории незаменим. Митинг был назначен бесплатный. Афишировано было хорошо. И все-таки народу собралось всего четыреста-пятьсот человек. Утомление огромное. Кроме того, суббота и день неудобный: кто уехал домой, кто пошел в баню, кто копается в огороде, словом — кто куда. Завтра состоится второй митинг на тему «Где же контр-революция?». (Первый был на тему: «Анархо-синдикалисты и текущий момент».)

Особого многолюдия не ждем и на завтра.

После митинга зашли к Куваеву в фабричный комитет, — чаевничали, спорили до глубокой ночи. Я держался вместе с товарищами большевиками.

Да, я чувствую и вижу, что у них все яснее, определеннее, нежели у нас. Им легко защищать свои позиции, у них больше доводов... Но правда все-таки за мной. Мне очень трудно разбираться во всем одному; трудно потому, что со своими анархо-синдикалистами во многом я расхожусь, а с большевиками сближаюсь. Знаю одно: мое небольшое знание, мой малый опыт и чутье ведут меня по правильной дороге.

«Долой Совнарком и да здравствует федерация вольных Советов». Это, как «лозунг следующего дня» провозглашали Максимов и Ярчук. Но, сказать — одно, а «сделать не одно, а два»... Они в Советах уже не работают. Ярчук только «числится» членом Кронштадтского Совета, но фактически работы не несет. А числиться мало, надо работать и знать советскую работу последних месяцев, чтобы сказать, насколько Советы важны и нужны. Оставлять Советы, — бросать на распутьи революцию, бросать тех, с которыми все время шли плечом к плечу, — оставлять теперь, когда они измучены до-нельзя? Нет, что хотите, этого сде-

лать невозможно без ущерба для самой пролетарской революции.

Правда, нас по России мало, и наш уход фактически не отзовется на советской работе... Но вопрос решается ведь принципиально, и этим соображением отбояриваться невозможно...

Второй митинг можно считать несостоявшимся: собралось человек сто пятьдесят-двести. О контр-революции говорить не стали, а тов. Максимов ответил на записки, что были поданы вчера. Солнечное воскресенье, все разошлись-разбрелись; не до митингов, не до смрадно-душных помещений; грудь просит свежего воздуха, — все ушли в поле, на луг, в лес — кто куда. Мне и самому стало скучно и тошно. Максимов вял и однообразен. Я не дослушал, ушел с половины.

Я не согласен с товарищами и порицаю их за утверждение, что в Советах невозможно работать. Ложь. Кто хочет действительно работать, а не паясничать со своими «собственными» идеями, принципами и положениями, кто хочет дать нечто положительное, — тот, оставаясь в Советах, найдет себе благодарное дело. Я ушел с митинга, ибо тошно было слушать эту поистине мелко-буржуазную болтологию об объединении пощады права». Все это чушь... Такого объединения, о котором говорили они, создать невозможно. Пощады к врагам быть не должно. Если при каждом удобном и неудобном случае мы будем «вырезать» буржуазию, — беды большой рабочим от этого не будет; революция от этого не погибнет. Расстреливать только тогда, когда тебя уже схватили за глотку, поздно. Надо врагов выводить из строя заблаговременно. Одна, другая ошибка не в счет, — они неизбежны. Вы против продовольственной диктатуры? А я ее приветствую. Во-первых, она ускорит дело (не верю в ваше «сожгут, зароют, не дадут»), во-вторых, деревня, благодаря этому, расслоится.

А это великолепно. Крестьянство не должно остаться единым. Сто раз правы большевики в своих жестокостях, в своей решительности. В этом я с ними. И это совсем не противоречит делу и учению анархизма.

Надо создавать что-то новое, создавать школу анархо-реалистов.

2 июля 1918 г.

Снова и снова эти мучения неопределенности. Снова распутье. Снова поиски. Знакомое, тревожное состояние. Оно было. Первый раз оно было тогда, когда в начале революции стоял я на распутьи и не знал, кому отдать свое революционное сердце, кому отдать свои силы, с кем итти. Ничего не понимая, не зная учений и тактики учений, я ткнулся к эсерам, ткнулся сам не знаю почему, — видимо потому, что тогда еще преобладали во мне идиллические, «деревенские» настроения; не выветрилась еще вялость, мещанская дряблость и половинчатость. Знакомые тоже шли к эсерам. Ну, и я за ними. Партия рабочих, социал-демократы, страшила, отгоняла тем, что интересы идиллического порядка оставляла в тени, на первое место выдвигала науку, цифры, достоверные факты. Все это было сухо и скучно. Затем уехал в деревню. Там совершился переворот в сторону интернационализма. Я еще колебался. Только чутьем я чувствовал, что в моем «патриотическом демократизме» не все благополучно. Наиболее сознательные рабочие были не с нами, — это наводило на размышления. Промежутки между поездками по деревням были особенно показательны и убедительны в этом именно отношении. В самом деле, попадешь в деревню и слышишь там лишь утилитаристские взгляды, видишь единственное стремление во что бы то ни стало скорее получить землю — и только. Никаких идеологических надстроек и фундаментов нет, — просто нужна зе-

мля, и дальше ничего нет. Приезжаешь в город и видишь, чувствуешь, как высоко вздымается здесь волна героизма, как широко идет здесь бескорыстная, высоко идейная работа пролетариев. Это заставляло задумываться и все чаще и чаще оглядываться назад и внимательно всматриваться в тех, с которыми я шел, с которыми был связан. Мне становилось их жаль, а с тем, кого жаль, — невозможно вместе бороться. Мне становилось их жаль, как заблудших, как инвалидов... Не помню, какие еще были у меня чувства, но однажды я понял, что дальше работать с эсерами невозможно. Это было мучительное состояние, — один, каждую минуту рискующий ошибиться и впасть в какое-нибудь непоправимое противоречие, малознающий, с трудом разбирающийся в сложной действительности, — я решил уйти от правых эсеров.

Куда? К кому итти?

Надо было итти тогда же, ни секунды не медля, — к большевикам, но еще слаб был, не хватало духу идеологию мелко-буржуазную сменить на другую, пролетарскую. Доносились к нам глухие вести о «левых соц.-революционерах», но кто они, о чем говорят, чему учат, — этого никто не мог сказать. Больше известно было о максималистах. Несколько товарищей, ушедших от эсеров, вслед за мною, также называли себя первое время «левыми эсерами». Потом мы окончательно назвались максималистами. Шло время. Пылало сердце революционным огнем. Хотелось сделать что-то большое... А максимализм начал хромать...

Тут снова пришел мучительный момент перелома, переходный, томительный момент. Нас стала увлекать анархическая линия, так как будто бы было больше жизни. Анархисты клокотали, рвались вперед, казалось, были смелым, воистину революционным авангардом рабочей революции. Сначала мы робели, колебались, — читали, беседовали, меч-

тали... А потом приехал Черняков и ускорил дело, — вся группа перешла к анархистам, не определяя себя точнее: синдикалисты или коммунисты, или кто-нибудь еще. Анархисты и, конечно, — хотя большинство и называло себя в частных беседах анархистами-синдикалистами, — коммунисты. Перелом был совершен. Стало как-будто легче, но это была только видимость. На самом же деле я чувствовал по-старому свое фальшивое двусмысленное положение — «ни в тех, ни в сех». Борясь все время с рабочими и за рабочих, я был в то же время оторван от них, разгорожен какою-то формальною, фальшивою стеною. От этого все время было тяжко, неясно на душе.

И снова пришла эта ломка, мучительная неопределенность... Снова я на распутьи. Не хочу лукавить перед собою: не могу учить тому, чему учил, но и принять новое также еще не могу. Анархизм питается контр-революционными чаяниями, с одной стороны, темпераментом, с другой. Погромные статьи, что были за последние недели в «Анархии», все поведение анархистов после разгрома федерации, это сплошная ставка на контр-революционное восстание. Оставаться в федерации дальше нет никаких сил. Но... куда итти?.. Уж такая у меня мятежная душа, что куда-то все рвется, что, прильнув к одному, живо стремится умчаться от него в поисках за более высоким, за новым. Это похвала себе, это нескромно, но это правдиво. Беспартийный... Правый эсер... Левый эсер... Максималист... Анархист... Коммунист-большевик... Где же правда? В котором же учении спасение революции? Каждую крошечную группу, каждого отдельного «вождя» обуяла, затуманила мысль создать «свое» учение, «свою школу», проявить где-нибудь «свое имя», самому показаться, самому продефилировать. Мне все это глубоко противно именно потому, что все эти пустые мечтатели со-

вершенно не считаются с тем, — помогает это рабочей революции или нет. Им, этим хвастунам от революции, всего важнее оставить на столбцах газеты свое имя, сделаться более или менее «историческою личностью». Если бы к этому итти, — разумеется, на таком безлюдьи можно было бы кое в чем и кое-где выдвинуться и прогарцовать по страницам газеты.

Но когда ставишь себе конкретную, осязаемую задачу практической борьбы, — тут политическому хвастовству не место, тут надо вести живое дело, а не брехней заниматься. Эти вот кардинальные соображения и вывели теперь меня снова на распутье, к раздумью. Я смотрю на эти свои переходы от одного учения к другому, как на этапы зрелости. Я зрею, крепну, утверждаюсь на революционном посту, — и иду все дальше, все дальше. Это в конце концов не важно, какое слово приклеишь ко лбу. Кем бы я ни назывался, — всю революцию я работал в теснейшем контакте с большевиками, вел с ними общую линию и чувствовал тяжесть от того, что, говоря одно, делая одно дело, —числился, жил где-то в другом месте. Еще не знаю: остаться «независимым анархистом» и работать, как работал все время, т. е. как большевик, или же без обиняков, без дальних рассуждений вступить в ряды коммунистов-большевиков и слиться всецело с рабочим движением.

Вас изумляет такая постановка вопроса? Она вам кажется смешной и наивной? Вы скажете, что тут скрещиваются два противоположных, может быть, враждебных учения? Нет, думаю, — это сплошное недоразумение. В анархизме и большевизме нет элементов, взаимно исключающих эти два учения. Тактика большевизма отнюдь не исключает возможности быстрого продвижения по пути к безвластному коммунизму. Только больше логики, больше твердости и смелости у большевиков. А что у анархистов? Никакой

линии поведения, никакого чутья живой действительности, — лишь смешное желание сохранить во что бы то ни стало какую-то «самостоятельность», следуя той логике, что «неправильно все то, что сказано и сделано большевиками». Ни одному жизненному акту не дается жизненного толкования, все ставится вверх тормашками, все «по своему». И вижу я, что голодная, измученная, рабочая масса чувствует правду, не бросает партию, которая с изумительным мужеством борется все время за революцию... Сочувствие, общее доверие рабочих (как и мое собственное) все время революции неизменно с ними, — с коммунистами-большевиками.

Вчера, т. е. 1 июля, было заседание группы. Присутствовали Ярчук и Максимов. Много было споров и разговоров по поводу истинного анархо-синдикализма и ложного, нежизненного. Я гнул свою линию, но чувствовал, что группа уже не со мной. На лицах товарищей блуждали иронические улыбки, когда я говорил, отстаивая свою позицию. Все сочувствие было на стороне А. Чернякова, а вместе с ним — Ярчука и Максимова. Я остался почти один. Вместе со мною лишь Зильберт. И оставил вопрос открытым Павел Иванович Муравчиков.

Я — коммунист-большевик, если иметь в виду всю ту работу, что я вел за время революции. Всю революцию я рос политически и, наконец, дорос до более или менее ясного сознания своей кровной близости с научным коммунизмом.

Остается только пустой, формальный акт оглашения. На это также требуется смелость, и смелость, пожалуй, не малая. Особенно мне, перешедшему последовательно от правого и левого эсерства к максимализму и затем к анархизму.

Да, многое я испробовал. Но что же делать, когда невозможно было разом найти свою сущность? И неужели

оставаться и числиться, когда перестал уже верить? Нет, — бежать, и бежать немедленно... Мучителен только первый момент, только самое начало. Дальше будет легче... Может быть... Возможно, что дальше будет легче, но теперь — смертельно трудно. Я ведь только и думаю, что про свое распутье, ни на минуту оно нейдет из головы. Запутался я совершенно и не вижу выхода. Я один, не с кем посоветоваться, поговорить. Да и возможно ли вообще тут говорить и советоваться? Кто поймет, что у меня творится на душе? Я ведь и сам с трудом разбираюсь, — сумбур какой-то, борьба жестоких противоречий, оформление чего-то нового и отчаянное сопротивление старого. Порою мне отчетливо ясно, что правда у большевиков и что надо безраздельно уйти к ним. А потом охватывает раздумье, сомненье, снова и снова начинаю путаться, теряю всякое пониманье. Уйти к большевикам — значит уйти в другой, совершенно новый мир. Там новая марксистская идеология, апофеоз государственности, централизации, дисциплины. Там свои приемы борьбы, против которых борются анархисты. Я схожусь с большевиками во многом, но как, к примеру, быть с хлебной монополией, в которую не верю, которую не признаю? Защищать, не признавая? Но я ведь не могу так слепо повиноваться, я чту абсолютную свободу, я хочу и буду думать сам, а не по мыслям других. Знаю: уйти к ним — это значит во многом связать себя обетом покорности и подчинения. Хватит ли меня на это? Едва ли... И если не хватит, — снова уходить, снова мучиться в поисках новой пристани? Но тогда, по сути, и пристаней то уж не останется... кроме буржуазных. Даже подумать об этом трудно: очутиться безо всякой надежды на пристань, ни в близком, ни в далеком будущем. Что зовет меня к большевикам, — так это непоколебимая их твердость, непреклонность в достижении намеченных целей. Они создают проле-

тарское государство. Мы, анархисты, — против государства. Но, может быть, здесь речь идет только о слове? Конкретно, на работе, быть может, и мы вынуждены будем строить лишь то, что строят большевики? Ведь оно часто так получается: говорят как будто бы разное, а на самом деле — одно. Нет ли в этом споре такого рокового недоразумения? Ведь жизнь не дает итти поперек законов развития и непременно выпрямит свою линию по единственно возможному руслу созревшей, готовой суммы обстоятельств. Долой государство, — заявляем мы. А как будем строить новое общество? Да всего вероятнее так, как позволит жизнь, а не так, как сами захотим. Продвинуть, помочь, облегчить, разумеется, мы можем, но выкинуть какой-то артикул, скакнуть через жизнь невозможно, — запнешься, упадешь. Вот анархисты борются против марксизма, как будто это сплошная ложь и ошибка. Во имя преклонения перед идеалом анархизма — отбросить, забыть законы развития немыслимо. Я не тверд, я многого, может быть, не знаю и не понимаю, но все-таки забыть и глумиться над тем, во что верю, — я не могу со спокойной совестью, хотя бы и ради высокого конечного идеала. Я весь запутался в противоречиях, я не знаю, куда примкнуть. Может быть, не примыкать никуда, — остаться «независимым анархистом»? Но не оказалась бы эта «независимость» простой растерянностью, сумятицей, сплошной нелепостью. О, если бы я мог охватить разом и то и другое учение, разом увидеть все pro и contra!

Необходим сейчас мне твердый, каменный фундамент, а я чувствую себя словно в трясине. Выйдя из группы, я должен, ведь, сказать и сказать определенно, ясно: остаюсь я анархистом или нет. А знаю я это сам? Нет, не знаю. Моя душа рассечена на-двое, поровну отдана тому и другому учению. Будет ли перевес, и куда — это пока для меня такой же вопрос, как и для вас, спрашивающих.

Я, видимо, переутомился, страшно устал и не могу активно работать, как работал прежде. Апатия, лень, усталость, неопределенность. Ни за что не хочется браться. На текущей советской работе я еще могу остаться, но на творчество, на широкий размах уже не хватает сил. Это, разумеется, не разочарование, это не недовольство чем-либо и кем-либо, — это усталость, плод непрерывной напряженности.

3 июля 1918 г.

Наше первое торжественное заседание было 1-го, в понедельник, второе — во вторник. Но на это второе я уже не пошел. Группа мне стала чужой, делать там больше мне было нечего. Остался дома: читал, писал, думал о том, о чем думаю теперь днем и ночью. Хотелось бы прочитать наскоро, как можно больше, чтобы лучше уяснить себе дело, но нет возможности. Кинешься к одному, к другому, третьему, но все, что читается наспех, тут же и забывается, не переварившись как следует. Может быть, начать читать большие труды? Нет, не хватит ни времени, ни терпения. А ведь прежде чем сказать окончательное слово, надо и узнать окончательно.

Вчера вечером снова стало ясно, что переход к коммунистам-большевикам необходим. Почему? — спросите. Во-первых, потому, что вообще больше думаю в эту сторону, а во-вторых, потому, что в № 2 журнала «Коммунист» прочел простую, прекрасную статью Н. Бухарина «Об анархизме и научном коммунизме». Своею ясностью она произвела на меня сильное, незабываемое впечатление. Это впечатление перешло в спокойное признание того факта, что все, сказанное здесь Бухариным, неоднократно мыслилось и говорилось мною (только, разумеется, не в такой ясной, отчетливой форме). Всею своею работой за полтора года революции я на

деле проводил идею коммунизма, называясь то так, то эдак. И теперь вижу, что поистине вредно и опасно судить о революционности человека по тому флагу и лозунгам, под которыми он идет. Я ходил и под красными, ходил и под черными знаменами и все-таки оставался на деле коммунистом - большевиком, как от этого ни отмахивался. Поэтому вот и теперь эта статья Бухарина произвела на меня прекрасное, успокаивающее действие: я собрал в одно все мои сомнения, просто, кратко и ясно суммируя; сделал из них целый ряд простых и убедительных выводов, против которых мало что можно сказать. По крайней мере, в той анархической литературе, что я прочел, я не нашел, не помню там возражений, положений, которые разбивали бы, уничтожали стальные выводы коммуниста Бухарина. Сам собой встал вопрос: для чего же и как я попал к анархистам? Эта ошибка еще была бы простительна мало развитому рабочему, но мне, интеллигенту, простить этого легкомыслия нельзя. Каюсь, — именно легкомыслие было, и легкомыслие это питалось моим безудержно-торопливым характером, подчас губительной решимостью и стремительностью. Не продумал, не узнал, поверил на слово, настроение принял за убеждение, а мечтания — за программу действий. Мы, переходя всей группой в лагерь анархистов, руководствовались, разумеется, чистейшими помыслами, мы думали ускорить дело, что было совершено в Октябре. Думалось и верилось нам, что именно анархизм укажет те пути, которые приведут к желанной цели. Я поддался общему настроению, свихнулся сам, допустил непростительное легкомыслие и отдался этой работе. А раз отдавшись, стал затягиваться, начал даже и верить кое во что анархическое. Я все время своей кочевки по партиям не чувствовал твердой базы. Теперь же, при приближении к научному коммунизму, я чувствую дыхание этого могучего, мраморного базиса, — тут

фундамент тверд, не заколеблется. Моя глубочайшая, непосредственнейшая симпатия к коммунизму обнаруживалась за все время революции, и этой симпатии, инстинктивному тяготению, следует придать особенное значение именно потому, что мною не было прочитано ни книг, ни брошюр порядочных, — я все узнавал лишь по текущей прессе. С другой стороны, постоянно читая книги, брошюры и газеты анархистов, поддаваясь порою их обаянию, — в минуты трезвого спокойного размышления я неизменно расценивал все прочитанное, как брехню, как доброе пожелание, как мечту. И никогда не верил всерьез тому, что там говорилось, не верил, но увлекался, в этом последнем каюсь.

Статья Бухарина, как некогда молебен в Лежневе, — явилась поворотным пунктом, сыграла решающее значение в истории моих сомнений и мытарств по пристаням революционных учений. Эти два учения — анархическое и марксистское — образно отразились в своих славных вождях — Бакунине и Марксе. Две львиные головы, два огромные ума. Один — бунтарь, разрушитель, неспособный органически на созидательную работу в ее простом, конкретном смысле. Другой — холодно-умный, осторожный аналитик исторических процессов. Его выводы непреложны и убийственны для каждого противопоставления. Там — бунт, здесь — борьба. И я, по природе своей склонный к бунтарству, поверил, что можно прожить одним этим качеством, одною своею нервозностью, одним устремлением к разрушению. Впрочем, здравый рассудок все время одергивал, а факты, нужды живой действительности ставили в тупик на каждом шагу и задавали убийственные, сокрушительные вопросы. Я старался примирить непримиримое: будучи анархистом, признавал на деле и власть, и насилие и угнетение наших классовых врагов. Это не вязалось с анархизмом, но

иначе поступать я не мог. Я еще не созрел до того, чтобы стряхнуть с себя анархические иллюзии, я все еще верил, что это учение можно каким-либо образом приложить к жизни. Все оказалось плодом доверчивости моей мягкой души. Серьезного тут не было и вполне понятно, что я сразу впал в противоречие. Говорил, учил одному, а на деле выходило другое. Этому противоречию, этой невыносимой двойственности рано или поздно надо было положить конец. Этот конец теперь, видимо, положен. И положен невозвратно, решительно.

★

Когда Ярчук на собрании группы поставил прямо вопрос: «Так в чем же вы расходитесь, где линия, которая рассекла на две части дотоле единую группу? Есть ли нужда в расколе? — Когда вопрос был поставлен таким образом, — я почувствовал громадное затруднение, я не знал, что сказать. Да и что было говорить? Про свою близость, про свой контакт с большевиками? Но, ведь, линия раздела между синдикалистами и чистыми коммунистами проходит совсем по иному месту, по иной группе признаков. Я затруднялся отвечать, ибо, отвечая полностью, в открытую, чистоганом, я должен был отвергать не только форму, но и сущность учения, против которого инстинктивно уже протестовал. Я ухватился было за «Анархобольшевизм», как окрестил мои убеждения т. Черняков, но, по размышлении, увидел, что это слово не имеет права гражданства. Один из товарищей взялся рассказать то, что произошло. Начал он издалека: «Дмитрий Андреевич был нашим вождем. Мы ему верили, считались с ним, как ни с кем другим, и пользовались его помощью. Он нам читал, разъяснял, указывал... Все шло хорошо. Потом в Москве расстреляли, разгромили анархистов. Он был там в эти дни, а по приезде — сделал

два публичных доклада. Там он пытался как бы оправдывать большевиков. С того времени мы ему перестали верить и стали относиться к нему без прежнего внимания. В группе что-то треснуло. Мы остались как бы одни, потому что ему больше уже не доверяли. Александр Яковлевич вышел, а сами разобраться мы не умели. Дм. Ан. во всем и всегда старался благожелательно относиться к большевикам. Мы этого не признавали. Он мало говорил про анархо-синдикализм и мы спервоначалу верили, что этому именно и учат анархо-синдикалисты. Но что же это за ученье? Поразмыслили мы и решили отойти от него. Отошли и стали считать себя анархистами-коммунистами, которые в газете «Анархия» смело боролись с большевиками. Теперь же, после ваших слов, мы видим, что и анархо-синдикализм против большевизма, а потому мы снова будем синдикалистами. . .»

Товарищ на этом кончил. Стали каждого опрашивать — кто он. Мы с Зильбертом вышли. Муравчиков и Сидоров воздержались, остальные, человек двадцать, оказались анархо-синдикалистами-коммунистами. Едва ли они разобрались в этом.

★

Все тверже и тверже вступая на платформу марксизма, я уже не только не жалею о том, что был одно время в рядах анархистов, но, наоборот, радуюсь этому, с известной точки зрения. Я, видимо, навсегда уже стряхнул с себя обаяние всяких увлекательных теорий. Они меня уже не увлекут, не собьют. Желания останутся у меня в мечтах, в помыслах, а бороться, работать буду с фактами в руках, а не с иллюзиями и благопожеланиями.

Я побывал в рядах мечтателей, пожил с ними, поварился в их соку и вырвался оттуда, как ошалелый, чертыхаясь и проклиная. Когда оглянешься назад, — немножко смешно,

немножко стыдно, а в общем, чувствуешь, что польза была. Хороший урок получил я от этих скитаний по партиям и группам. Интеллигент без классовой базы. Шараханье из стороны в сторону. Теперь прибило к мраморному, могучему берегу - скале. На нем построю я свою твердыню убеждений. Только теперь начинается сознательная моя работа, определенно классовая, твердая, уверенная, нещадная борьба с врагом. До сих пор она являлась плодом настроений и темперамента; отселе она будет еще, — и главнейшим образом, — плодом научно-обоснованной, смелой теории.

5 июля 1918 г.

Пришлось пару слов сказать Любимову. Он, конечно, обрадовался, когда узнал, что я перехожу к коммунистам. Я тотчас отправился в редакцию. К счастью мое заявление о выходе из группы анархистов не было еще отпечатано. Оно было такого содержания: «Заявляю о своем выходе из местной группы анархистов, так как не схожусь с группой по целому ряду крупнейших вопросов, главным образом, по вопросам об отношении к Советам и партии коммунистов-большевиков». Теперь, после того как мною было заявлено некоторым товарищам-большевикам о твердом желании войти в партию, не было нужды дальше таиться. Я воспользовался тем, что заявление еще не было отпечатано, и взамен ранее данного, дал новое, следующего содержания:

«Заявляю о своем выходе из группы анархистов и о вступлении в организацию коммунистов-большевиков».

Это заявление сегодня появится на страницах «Рабочего Края». Будут вопросы, насмешки, подозрения... все будет. Но раз твердо решившись, — я сделал свое. Были колебания, была неуверенность, но события, размышленья гнали

меня неизбежно к берегу коммунизма. Не хватало только смелости заявить открыто. Теперь все кончено. Теперь Дм. Фурманов коммунист-большевик.

★

Чувствую еще некоторую растерянность, нетвердость, словно после оглушительного удара. Я еще не соображу всего разом, никак не взвешу, не обдумаю. Произошло ведь со мной событие колоссальной важности: я причастился того учения, которое не осмеливался назвать своим, выполняя его самым усердным образом в течение всей революции. Теперь я повеселел, сделалось легко, свободно. Войти с головой в новую среду я еще не могу, как-то робею. Я даже не смею еще назвать себя коммунистом-большевиком. Слишком ново, слишком торжественно, значительно.

Хочется работать, работать, работать. Откуда-то взялись новые силы, новая бодрость, огромное желание без устали трудиться.

8 июля 1918 г.

Вечером 6-го уехал в деревню, где был до утра 8-го. Но и там все мучили, терзали думы, — так ли, правильно ли сделал? Не ошибиться бы в чем... 8-го, тотчас же по приезде, пришлось проводить на фабрике митинг по поводу открытия детских столовых, на организацию которых необходимо было сделать с рабочих единовременное отчисление в размере полдневного заработка. Митинги по всем фабрикам были. Успех малый.

— Вы там сыты и руки греете около теплых-то мест, а нам только подавай, да подавай отчисления. Нет, уже, благодарим, мы и сами, без вас сумеем купить...

И море голов заволновалось. Женщины-пролетарки в большинстве своем голосовали за столовые. Вопрос был отвергнут. Между прочим, подали записку:

«Почему это вы перешли к большевикам? Подозрительно».

Что подозрительно? Видимо, товарищ думает, что я был в группе для шпионажа, что ли — не знаю. Вот они — горькие для меня вопросы и подозрения начинаются. Значит, загуторили, заговорили, судят-пересуждают. И, верно, не хвалят: очень уж стремительно, очень уж легкомысленно, как мальчишка, скакал из одной партии в другую. Непростительно это. Даже и на лицах большевиков, которые, несомненно, рады новому активному работнику в партии, мне чудится ироническая улыбка. Вот сегодня на митинге язык не повернулся сказать: «мы, коммунисты», даже слово «власть» еще не могу произносить легко, — так меня затянула осторожность и лавирование в период бытности в группе. На деле мы осуществили власть, а на словах боялись ее и даже слова самого чурались. Теперь обман окончен, но он еще имеет силу надо мною, его скоро не вытравишь.

— Смелее, смелее, — повторяю я себе непрестанно. — Много еще будет испытаний, — терпи. Ты ведь подошел к партии коммунистов не в медовый месяц ее октябрьско-ноябрьских побед, когда пол-России ушло за большевиками... Тогда не диво было, что к ней, победительнице, шли на поклонение, ее почитали за лучшую; тогда это было в порядке вещей. А ты подходишь, прикасаешься к ней, как раз в период тягчайших страданий, которые она переживает. Ты к ней подошел не как к торжественной победительнице, а как к мученице. Независимо от объективных условий, она взяла тебя и притянула к себе. Ты в ее власти, как это ни ново. Будь тверд, смел и спокоен.

★

— Убили Мирбаха... — Что за этим последует?

— Задержали левых социалистов-революционеров, — что за этим последует?

— Голодно, голодно...

Что будет дальше?

9 июля 1918 г.

Все коммунисты призваны под ружье. Имеются голоса о вооружении не только коммунистов, но и вообще надежных рабочих (В. Я. Степанов). В казармах армейцы, как пчелы — все рабочие, старые знакомые, с которыми работаю всю революцию. Пришло человек пятьсот. Выдано обмундирование, вооружение, часть немедленно же, в 1 час ночи, отправляется в Ярославль (150 чел.). Оттуда уже есть раненые (прибыло 7 чел.).

Ярославль горит и разрушается. Там расстреляно до трехсот гвардейцев, противившихся Совету. Муром занят. Близ Костромы занят какой-то городишко. Мы все на ногах и готовы к бою. Но в неизбежность боя не верим. Думаем, что все обойдется и без него. Если удастся ликвидировать Ярославльское восстание — все будет спасено. Не будет тогда дел ни в Рыбинске, ни в Вологде.

Снова переживаем корниловские, красновские дни. То же волнение, та же горячка.

17 июля 1918 г.

Статья передо мной, увы! — ненаписанная.

Ее еще надо написать, создать, эту мифическую статью. Необходимо. Но устал я. Вот четыре-шесть пустых часов впереди, а писать не могу. Сесть не могу, думать, напрягаться не могу. Тошно, скучно, вяло стал я жить последнее время. Видимо, переутомился. Хочется чего-нибудь легкого — стихов, что ли, аль «романов», хочется ягод, фруктов, поцелуев, — словом, чего-нибудь такого, что не заставляло бы думать и думать без конца. Необходимо отдохнуть.

Статья моя должна была бы осветить роль интеллигенции в текущей революции. На фоне общей картины колебания и нетвердости, случайности и эпизодичности интеллигентской работы можно было бы зарисовать и факт собственного, постепенного оформления и прояснения. Можно было бы дать хорошие иллюстрации... Время идет. Мысли бледнеют, многое забывается, теряет остроту. Не написанной остается статья... И нельзя уйти. Мы должны быть на местах до последней минуты. Впрочем, возможен отпуск. Подкрепление необходимо.

1 октября 1918 г.

Вслед за мною в партию коммунистов перешли: Зильберт, Топоров, юрист Смирнов с женой, бывший комиссар юстиции П. Соколов, заведывающий статистическим отделом Губсовдепа Озеров, правый эсер, студент Вячеслав Иванов.

Все убедились, все поняли, что революционеры собрались только по ту сторону баррикады, в лагере коммунистов. Все остальное — явно или тайно идет против или тянет назад. Я окончательно успокоился и чувствую себя твердо. Несколько недель уже состою секретарем окружного комитета партии. Веду широкую работу и чувствую себя так, словно занимаюсь ею долгие годы.

★

13 сентября было партийное собрание в Шуе. Поставлены были на обсуждение вопросы повестки дня областной конференции. Настроение приподнятое, ощущается желание расширить, раздвинуть партийную работу. Всего присутствовало человек тридцать—тридцать пять. Заседание было прервано известием о каких-то выстрелах. Разом поднялось человек десять красноармейцев и куда-то побежали. Тревога оказалась фальшивой, напрасной. Закончилось заседание глу-

бокой ночью. Обращено было должное внимание на конструкцию партийного аппарата. Секретарем выбран т. Сахаров, молодой, вполне приличный работник.

22-го был уездный съезд коммунистов в Кинешме. Всего собралось до трехсот человек. Среди других вопросов был и вопрос об арестованных экс-работниках Совдепа, комитета и других организаций. Заседание длилось почти непрерывно семнадцать часов — с 2 час. дня до 7 час. утра. Вопрос об арестах занял десять часов. Принята резолюция о жестокой расправе с виновными, с объявлением конфискации имущества, доклад был сделан мною. Доклад, видимо, взбудоражил и дал богатую пищу разговорам о партийной дисциплине, организации сочувствующих и проч. Кинешма гостей встречала по-хорошему. Организовали чай, бутерброды, обеды по недорогой цене. Все семнадцатичасовое заседание было сплошным напряжением и ожиданием чего-то страшного. Ожидалась оппозиция обвинению арестованных, так сказать, защита грабежа, бандитизма и проч. Но «защитники» перепугались, закусили языки, увидели, что дело неладно и обстоит грозно. Цветкову, Савенкову и Зельдину грозит расстрел. Съезд прошел с большим подъемом.

27-го в Лежневе было проведено заседание партийной ячейки, которая существует вот уже несколько месяцев и до сих пор не утверждена. Всего набирается человек двадцать пять. У некоторых имеются вполне достаточные рекомендации. Я обещал утвердить ячейку в ближайшие дни (в понедельник, 30-го, делегаты были уже в комитете).

Среди присутствующих товарищей царило необыкновенное оживление. Их обидела невнимательность окружного комитета, который до сих пор не утвердил их ячейки. Высказывают большое желание работать.

Отдохнув часа полтора-два, провели лекцию на тему: «Как борются рабочие и крестьяне за социализм». Зал быв-

шего Кокушинского дома был переполнен, на улице за бортом осталось человек сто — сто пятьдесят. Лекция, продолжавшаяся два с половиной часа, была выслушана при гробовом молчании, с большим, видимо, интересом. После лекции учитель, лет сорока, в очках, по виду педант и брюква, — пожал руку и сказал:

— Кабы почаще такие беседы, — мы все бы сделались большевиками.

Была уже глубокая полночь. Решили ехать на Тейково, до которого оттуда верст двадцать — двадцать пять. Подали коней и мы с военным комиссаром затрухали по ухабистой дороге. Ночь была мокрая, скользкая, грязная. Лил дождь, по небу кочевали мутно-серые облака. Я закутался в халат и одну руку запустил в карман, придерживая револьвер. Товарищ спал, свернувшись, как котенок. Дождь разошелся не на шутку, дорога страшно набухла. Через три-четыре часа заблестели в тумане огни славного Тейкова. Приехали. На станции во всевозможных позах валялось человек сто пятьдесят — двести мешечников. Через три часа пришел поезд, набитый туго-на-туго «мучениками-мучниками». Пострадав еще час в телячьем положении, предстали мы в советский Манчестер.

30-го был в Кохме.

Собралось человек шестьдесят. У них много народу ушло со всевозможными отрядами, ушли и мобилизованные коммунисты. Ребята производят впечатление хорошо спевшегося хора, — все у них складно, все ладно. Среди них чувствуется твердость, спаянность, готовность. Они во-время исполняют все наши распоряжения и предписания. Сидели до глубокой ночи. Заслушан был мой доклад о работах окружного комитета. Задавались вопросы, разрешались недоумения. Товарищей живо интересует все, что касается партийной работы.

2 октября 1918 г.

Говорил о четырех собраниях, теперь приходится говорить о пятом, а в ближайшие дни о шестом, седьмом, восьмом... Работа кипит. Устраиваются всюду конференции — уездные и районные. Вчера пришла из Вичуги телеграмма, посланная в Иваново 25-го (шестьдесят верст шла пять дней!). Гласит следующее:

«1-го районный съезд. Высылайте представителя». Поездов не было, телеграмма пришла в 1-м часу дня. Сейчас же по телефону:

— Отложите до 6-ти, приеду с товарным...

Но товарного не оказалось. Снова к телефону:

— Отложите до полночи, выезжаю с вечерним...

Приехал к ним полчаса двенадцатого. Подали на станцию лошадь, собралось сорок три человека... Беседовали часа три — три с половиной все о наших задачах, о работе партии. Довольно оживленно обсуждался вопрос о фактическом снабжении деревни газетой и литературой. Предлагали прибегнуть к помощи потребительских обществ, ибо эти общества объединяют по пять — шесть селений.

Предлагался и такой план: по волостям развозить из района или уезда, а из волости — по деревням; распространять таким образом: ближайшая деревня берет сразу десять — двадцать экземпляров, два — три оставляет у себя, остальные отсылает в следующую, там два — три экземпляра оставляют, остальные дальше и т. д. Поручили секретариату взвесить все предложения и окончательный план представить на обсуждение и утверждение комитета на первом же заседании.

В текущих делах обсуждался вопрос о том, работать или нет в кассе безработных анархисту т. Романову, памятуя то обстоятельство, что 1 Мая он выступал против политики

Совета народных комиссаров. Решили оставить, как честного работника, надежного и верного товарища, не обращая внимания на идейные расхождения с ним.

Пили чаек, со вкусным двадцати шести рублевым ландрином. Это благоденствие всегда наводит меня на печальные размышления. Особенно эти размышления зачернели, когда пришел ночевать к т. Се — ву. Он угощал молоком, сливочным маслом и хлебом, а на утро ко всему этому прибавил: сахар, конфеты, чай, пирог с яблоками, пирог с картофелем... Правда, он угощал сравнительно редкого и, видимо, уважаемого гостя, но все-таки согласитесь, что стол не по времени, во всяком случае не «пролетарский» стол. Теперь всюду нас встречают товарищи прилично даже и с внешней стороны: обычно высылают на станцию лошадь, под ночлег отводят комнату. Дома у буржуазии отняты и нас теперь есть где принимать. Настроение среди коммунистов твердое, уверенное, смелое. У них, видимо, и мысли не зарождается о том, что власть когда-либо может пошатнуться. Им эти сомнения нейдут на ум. Правда, время до времени возникают стычки между фабрично-заводскими комитетами и Советами, а где есть правления — и между правлениями, но партийные комитеты всюду разрешают недоразумения. Товарищи думают еженедельно устраивать митинги в трех-четырех местах. Дают своих двух ораторов; одного думают брать из Кинешмы, одного от нас, из Иваново-Вознесенска. Словом, всюду на местах проявляется большая забота о рабочих, о просвещении их, о подъеме их настроения...

5 октября 1918 г.

4-го состоялся уездный съезд партии в городе Середе. Прикатило человек триста. В числе других прикатил и я. Нигде — ни в партийном комитете, ни в Совете, ни на заборах

о съезде ни гу-гу. Можно было подумать, что вообще никакого съезда не предстоит. Обращаюсь в партийном комитете к секретарю:

— Объявлено ли, где состоится съезд и когда?

— Нет, пока не объявлено.

— А рано ли думаете открыть (было уже 3 часа).

— Да, часа в 4.

— Так... А повестка дня готова?

— Нет еще...

— Так, когда же вы будете ее составлять? Какие вы будете вопросы разбирать?..

— А право не знаю... Мы хотели часика в три собраться, да покумекать на этот счет... А мне одному совсем некогда, мне за перегруженностью работы...

— Да ну вас к чорту с перегруженностью работы, — обозлился я... Что вы в самом деле, игрушкой, что ли, считаете уездный-то съезд?

— Право некогда, т. Фурманов, — отвечает растерянно секретарь...

— Дайте-ка бумаги.

Я взял несколько листов бумаги. На одном крупно написал объявление о месте и часе открытия съезда, отослал повесить, где следует. На другом листе написал, что надо делать сию же минуту: приготовить бумагу, ручки, пресс и проч. Поставить регистрационный стол, поставить в дверях контроль...

На третьем листе набросал порядок дня съезда:

1. Вступительное слово т. Фурманова.
2. Выборы президиума, оглашение регламента.

I. Цель съезда.

II. Доклады с мест.

III. О работах областной конференции и задачи партии в настоящий момент.

IV. Выборы в уездный партийный комитет.

V. Текущие дела.

Всю эту музыку приходилось делать экспромптом. Подъезжая сюда всего час назад, я не знал еще твердо: будет ли выбран уездный комитет, или будет пополнен существующий районный? Не знал еще и порядка дня съезда. Пришлось все делать в две минуты. Открыли съезд часов в 5. Без перерыва сидели до 10-ти час. Съезд прошел великолепно. Настроение таково, что лучше желать нечего. Всюду по волостям коммунисты организуются, разгоняют кулацкие Советы и создают комитеты бедноты. Крестьяне-бедняки относятся к партии с большим сочувствием. Кроме Середской, представлены были шесть организаций. Они довольно малочисленны (самая крупная Писцовская тридцать пять человек, кроме, разумеется, Середской, насчитывающей сто тридцать человек), но не взирая на малочисленность, работают превосходно.

Выбрали уездный комитет из двенадцати человек, трое из которых составляют постоянно работающее бюро, двое являются на совещания по приглашению бюро и семь человек (по одному от каждой организации) приезжают один раз в две недели на пленарные заседания комитета.

Было уже 10 час., когда, получив добытые откуда-то фунта три хлеба, мы с Валерьяном, председателем и членами коллегии местного чрезвычайного комитета отправились в чрезвычайку. Тьма отчаянная. Огней нигде нет... Было нечто таинственное в этом коротком путешествии. Оно длилось всего двенадцать — пятнадцать минут, но весьма памятно своей оригинальностью. Спускались мы в какую-то бездну по крутому откосу, переходили какие-то бревна над ручьем, как серны скакали по светлым плешинам камней... Потом сразу вверх, по откосу противоположной стороны — чрезвычайка была тут. Словом, из черной бездны попали мы

в светлые чертоги: высокие, чистые окна, мягкая бархатная мебель, — в барский дом, занятый чрезвычайкой.

Ребята, не долго думая, сварганили самовар. Он повторялся раза четыре, из-за него мы и пошли к поезду лишь в половине пятого утра. Сидело нас вокруг стола человек шесть-восемь. Разговор шел все время о репрессиях, контрибуциях, терроре и прочих вопросах момента. Около 1 часа ночи вспомнили, что тут же под Чрезвычайной комиссией сидят два буржуя, еще не допрошенные по делу экс-председателя Совдепа — Дошеба. Позвали одного, позвали другого. Долго бились с первым — директором правления: все путался, все заминался. Потом, сбитый совершенно, сообщил, что Д. был у него два раза на квартире. Д., как лакей, приходил на квартиру к буржую-директору. Может быть, даже брал взятку, может быть, даже держал контакт — чорт его знает, следствие раскроет. Буржуи дрожали. Насилу подписали свои показания, словно подписывали себе смертный приговор. Глаза их дико блуждали, лица передергивались судорогами, они хватались за голову, привскакивая на стуле, клялись, извинялись, — словом, держали себя подло и унизительно. Слушать их было стыдно и противно. В 4-м часу красноармейцы их увели. Мы снова ушли к самовару. Дали варенья. Допросы весьма интересны и самобытны — необходима рука художника.

★

— Во, как чисто работают, указал мне рабочий на разобранный возле мостовой забор.

— Буржуи?

— А то кто же? Каждый день гоняем, — то улицу подметут, то дров наколят, а то и с забором справляются...

В это время подошел и пошел рядом с нами другой рабочий. Он молвил, услышав, о чем говорили:

— А Кирилла-то Матвеевич, пожалуй, лучше всех работает... Усердный.

— Не... Куда ему, вот Сипатра — так работает: как махнет, так и жердь пополам, как секанет, так и бревно на двое...

— Надо бы ему чорту...

Сидя в Ч. К. я услышал свист и скрежет пилы:

— Это кто?

— А дьякон на дворе с прапорщиком древесину разнимают.

— Какой дьякон?

— Ты не знаешь? Это, брат, веселая штука. Он, дьякон, прошлую ночь обыграл этого прапорщика, что с ним пилит, на полторы тысячи. Оба пьяны были смертельно... Повздорили. Дьяче ухватил прапора за бороду, а тот его за гриву. Выбежали ночью на волю и давай кричать, а мимо как раз два армейца... Ну, замели их и представили сюда. У дьяче в кармане нашли кумушку и полторы тысячи кредиту... Невозможно их было оставить вместе, так и кидаются, готовы один другого загрызть... А теперь ничего — пилят за милую душу. Ласковые стали, даже прикуривают один у другого. Мы их подружили сразу...

8 октября 1918 г.

По той же программе 6 октября был проведен съезд в Тейкове. Избрали уездный партийный комитет и председателем зарядили испытанного бойца и любимого Тейковским округом работника Ив. Ив. Короткова.

Вступительное слово я взял себе. И как-то совершенно неожиданно оно отлилось в форму сообщения о международном положении и о тех задачах, которые возлагает на нас изменившаяся ситуация. Германия пробуждается, в Германии грядет рабочая революция. Рабочим Германии, может

быть, понадобится наша помощь вооруженною силой, хлебом, сырьем... Мы должны быть ко всему готовы. На партию, сообразно этому, падает новая задача. Напряжение сил должно стать максимальным.

Ни по одному вопросу повестки дня прений не было — были лишь деловые заметки, необходимые вопросы и справки. Заседание продолжалось всего три часа. Тейковцы устроили нам недорогой обед и покормили на славу сыто. За столом приехавшие из деревни товарищи делились с нами, горожанами, привезенным хлебом, вели себя, как настоящие коммунисты. Живое, бодрое, веселое настроение. Ясное, твердое решение — стоять до конца.

★

7-го — аналогичный съезд в Родниках. Открыли его поздно, в 10-м часу. Народу собралось человек пятьдесят. Товарищи слушали с большим вниманием. Ни единого хлопка, никакой суеты. Родниковцы — публика организованная. У них революционеры работали по округу непрерывно с 1904 г. И теперь партийцы работают довольно интенсивно. Например, только-только началась кооперативная кампания — они уже провели в правление кооператива больше половины своих товарищей. Имеется стремление реорганизовать рабочий клуб таким образом, чтобы в него действительно ходили рабочие, а не являлись бы шумной гурьбой одни лишь конторщики и продавцы. Рабочий — засаленный и грязный — пока что итти туда не рискует. А если и придет — послоняется, потолкается, тем и кончит. Нет человека, который взял бы все дело в свои руки. А клуб рабочих ведь должен быть резервуаром, подготовительной школой, откуда можно было бы постоянно черпать все новые и новые силы...

Теперь идет запись в организацию сочувствующих.

По округу одна за другою вырастают ячейки коммунистов.

Крестьяне оживляются, идут на помощь комитетам бедноты и ячейкам коммунистов.

★

Сегодня, 8-го, созываем общее собрание коммунистов по Иваново-Вознесенску. Центральным вопросом стоит тот же вопрос о конференции и задачах партии. Собрание ожидается многолюдное.

25 октября 1918 г.

На общем нашем собрании присутствовало около пятисот человек. Пишу через две с половиной недели. Многое забыл. Многое совершилось так же, как и на уездных съездах по губернии, разве только вопросов было значительно больше, да интерес живее.

17-го был уездный съезд партии в Шуе, непосредственно за уездным съездом комитетов бедноты. Настроение бодрое. Работа несомненно улучшилась, — думаю, что после губернской конференции связь с уездом будет планомерною и постоянною.

20-го прошел уездный съезд партии в Юрьевце. Приехал я туда на день раньше, не получив точных сведений о дне открытия съезда. Но приехал я рано не понапрасну: товарищи использовали меня «до пят». 19-го пришлось в разных местах провести три митинга, а в заключение — партийное комитетское собрание. На следующий день, в перерыве между заседаниям съезда была проведена публичная лекция. Часам к 11-ти вечера был закончен и самый съезд.

21-го, после лекции-митинга, проведено было партийное собрание всей пучежской группы, вместе с сочувствующими. Присутствовало человек до пятидесяти и ни один из них не ушел до самого конца заседания. Здесь несколько хороших работников — Раевский, Орлов, Громов, Муков, Соловьев. . .

Ячейка еще не утверждена. Настроение прекрасное. В среде местной интеллигенции — перелом в сторону Советов.

23-го состоялась общегородская конференция в Иванове-Вознесенске. Не было почти никого из видных работников, — все заняты и в разъездах. Конференция — довольно вялая, малолюдная, проведена была к тому же неумело.

Долго спорили о продовольствии. Решили отдать картофель фабрично-заводским комитетам, так как городской продовольственный отдел бездействует.

13 ноября 1918 г.

Я — секретарь губернского комитета РКП., т. е. человек, который, повидимому, должен все знать подробнее, глубже, полнее простых смертных, который должен многое-многое узнавать раньше других. То ли на деле? Нет, не всегда так. Беру пример: по всем телефонным станциям отдан из центра пароль. А я ничего не знаю.

В городе перевыборы Совета. Я узнаю об этом очень поздно, а самый порядок выборов не усвоен мной и до сих пор.

На-днях пришлось проводить митинг на Зубковской мануфактуре. Всего работает там свыше двух с половиной тысяч человек, а на митинге было двести — двести пятьдесят. Как видите — весьма мало. Правда — ситцевая фабрика — денная, кончает она в 4 часа, а митинг был в 2 часа, и все-таки — мало. Да и те, что стояли — разве это «сочувствующие» нам? Нет. Это изголодавшиеся, несчастные бедняки, потерявшие остатки разума, и стоящие за нас лишь потому, что не знают «кем же» нас можно заменить. Хлеба — вот что им надо.

— Когда будет хлеб? — сказала мне одна женщина, когда в конце митинга по обычаю я заявил:

— Ну, товарищи, кто еще о чем хочет спросить?

А я ведь — один из лучших «ораторов». — Что же

«дают» и что же «получают» остальные товарищи? Одна скорбь. Мы все вращаемся в кругу партийных, а следовательно дисциплинированных, твердых, лучших товарищей. С гущей у нас сейчас теснейшего общения нет. Судите сами: у Зубкова за все лето, с весны, представители власти и партии были всего два — три раза. И так на большинстве фабрик, только некоторые являются счастливым исключением.

А вы знаете, сколько, например, у Зубкова всех коммунистов? Шестнадцать всего человек. Это на две с половиной тысячи рабочих. Забывать этих фактов нельзя.

Как обрадовались партийные товарищи, когда увидели одного из своих «вождей».

Начали сейчас же сходиться, громко что-то объяснять, о чем-то спорить, чтобы «вождь» ведал и знал, что они «не спят». Жаль их дорогих, бесконечно одиноких. Их мало средь моря голодных, недовольных, обозленных рабочих. И все-таки они держатся крепко. Молодцы, ребята. Мало вас, коммунистов, зато хорошие вы, честные люди и твердосмелые борцы.

СОДЕРЖАНИЕ